

II. Официальная победа критических элементов надъ націоналистическими.

I.

Официальный характеръ победы.—«Средній» путь Крижанича и отношеніе къ реформѣ царя Алексѣя Михайловича.—Умѣренно-національная реформа В. В. Голицына; ея казовой характеръ; ея претензіи и ея неудачи во внѣшней и внутренней политикѣ.—Контрастъ между государственной дѣятельностью Голицына и времяпрепровожденіемъ молодого Петра.—Консервативная реакція послѣ сверженія Софьи.—Насильственный и крайній характеръ реформы Петра.—Объясненіе этого характера условіями обстановки—культурной и соціальной.—Причина особаго ослабленія націоналистической культурной традиціи—въ предшествовавшей религіозно-церковной реформѣ и ея послѣдствія: моральномъ кризисѣ въ средѣ правящаго класса.—Причина особаго ослабленія социальныхъ препятствій—въ отсутствіи господствующаго класса.—Отказъ дворянства отъ политической роли и безсиліе правящей бюрократіи воспользоваться положеніемъ.—Легкость волненій, какъ послѣдствіе этого; ихъ исключительно отрицательный характеръ.—Безсиліе олигархической тенденціи правящей бюрократіи.—Гдѣ искалъ Петръ опору своей власти?—Его отношеніе къ бюрократіи и боярству.—Недовѣрчивость Петра и ея результаты—въ выборѣ сотрудниковъ.—Послѣдствія этого выбора: необходимость дѣлать все лично и недовѣрѣ къ избраннымъ.—Отсутствіе подходящихъ сотрудниковъ, какъ новая причина индивидуальности реформы.—Дворянская гвардія, какъ самая надежная опора власти.—Майоры гвардіи, какъ самые довѣренные люди.—Взгляды современниковъ на личную роль Петра въ его реформѣ. Цѣли и средства реформы, признававшіяся самимъ Петромъ. Его отношеніе къ европейской культурѣ.—Отношеніе къ собственной реформѣ: недостатокъ систематичности и обдуманности въ связи съ личными свойствами ума и воли.—Грубая общая схема и идея долга не замѣняютъ общаго плана.—Петръ самъ учится на реформѣ.—Отраженіе этихъ чертъ на главныхъ частяхъ реформы: войско, флотъ, Петербургъ.—Выводъ.—Отношеніе націонализма къ реформѣ.—Расколъ, какъ готовое знамя для національной оппозиціи.—Его религіозный характеръ; отсутствіе принципиальной розни съ никоніанствомъ; несительный и временный характеръ разногласій въ депетровскую эпоху.—Благодаря реформѣ Петра, религіозный протестъ окончательно превращается въ національный и принимаетъ принципиальную окраску.—Широкое распространеніе недовольства.—Отношеніе религіознаго протеста къ соціальному до Петра.—Попытка союза обоихъ теченій на Дону 1688 г. и причина ея неудачи.—Новый факторъ политическаго протеста, стрѣльцы: въ ихъ рукахъ національный протестъ получаетъ свою формулу (1698).—Неудачная попытка націоналистической оппозиціи опереться на южныя окраины (1705—1708).—Аристократическая оппозиція, ея возраженія противъ войска, флота, Петербурга.—Основанія ея недовольства въ классовыхъ интересахъ.

Мы познакомились съ тѣмъ, какъ проникали въ русскую народную жизнь, начиная съ конца XV до конца XVII в., все въ большемъ и большемъ размѣрѣ, элементы критики, заимствованные изъ жизни европейскихъ народовъ. Мы видѣли также и то, что первымъ, ближай-

шимъ послѣдствіемъ этого вліянія критическихъ элементовъ—была совсѣмъ не реформа національной жизни, а лишь, по контрасту, болѣе или менѣе сознательная формулировка ея мѣстныхъ особенностей, сложившихся мало-по-малу въ національный идеалъ, не подлежащій никакой реформѣ.

Дальнѣйшей ступеню того же вліянія,—къ которой мы теперь должны перейти,—была побѣда критическихъ элементовъ надъ только что сложившимся національнымъ идеаломъ,—побѣда, выразившаяся въ полной реформѣ жизни. Но на первый разъ побѣда эта оказалась внѣшней и формальной, такъ какъ совершена была насильственными мѣрами власти, а не внутреннимъ процессомъ эволюціи народной жизни. Вотъ почему мы назвали эту побѣду, характеризующую второй періодъ въ исторіи борьбы между русскимъ націонализмомъ и критикой, терминомъ *«оффиціальной»*. Первой нашей задачей въ этомъ отдѣлѣ и будетъ—показать, почему таковъ именно оказался характеръ первой побѣды критики надъ націонализмомъ въ русской жизни.

Возможность иного способа побѣды горячо старался, какъ мы видѣли, доказать Крижаничъ, мечтавшій разрѣшить вопросъ о реформѣ въ полной гармоніи съ національнымъ вопросомъ. Но предлагавшійся Крижаничемъ «средній» путь уже потому долженъ былъ оказаться невозможнымъ, что основанъ былъ на наличности такого условія, котораго не было въ русской жизни тогда и которое не скоро явилось потомъ. Какъ при заимствованіи чужого, такъ и при сохраненіи своего, онъ предполагалъ полную сознательность выбора, основаннаго на указаніяхъ «разума». Именно этой-то сознательности и не было, а за ея отсутствіемъ весь ходъ развитія критическихъ воззрѣній и національнаго самосознанія пошелъ совсѣмъ не такъ, какъ бы хотѣлось нашему публицисту. Критическіе элементы заимствовались стихійно, полусознательно, механически, и въ такія же стихійныя, полусознательныя формы вылился національный протестъ. Такимъ образомъ, споръ и рѣшившійся не путемъ добровольнаго компромисса, а путемъ открытой борьбы и,—какъ ея перваго результата,—«оффиціальной побѣды» крайнихъ воззрѣній.

Неизбѣжность такого исхода, правда, выяснилась далеко не сразу; и въ шестидесятыхъ годахъ XVII в., когда писалъ Крижаничъ, онъ еще имѣлъ полную возможность предаваться своимъ иллюзіямъ. Элементы критики, при первомъ своемъ распространеніи, на самомъ дѣлѣ очень близко соприкасались съ элементами національнаго идеала, при первой его формулировкѣ. Уже не говоря о созданіи, при помощи чужеземныхъ элементовъ, новаго монархическаго идеала XVI в., и новый бытовой идеалъ XVII в. находился съ элементами критики въ близкомъ сосѣдствѣ. Какъ мы уже говорили раньше, и критика, и національное самосознаніе, въ своихъ первыхъ источникахъ, были двумя сторонами одного и того же социальна-психическаго процесса, совершавшагося въ

одной и той же общественной средѣ, часто даже въ однихъ и тѣхъ же людяхъ. Этой средой былъ единственно доступный западному вліянію тѣсный придворный кругъ; этими лицами, совмѣщавшими западничество съ націонализмомъ, были, въ сущности, всѣ знаменитые западники XVII ст. Даже такое специфически-національное движеніе, какъ расколъ, имѣло однимъ изъ своихъ источниковъ, какъ намъ уже извѣстно *), просвѣтительно-реформаторскія стремленія кружка, собравшагося при молодомъ тогда царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Да и самъ царь, въ началѣ царствованія, казалось, какъ нельзя лучше подходилъ къ этому культурному моменту первоначальнаго равновѣсія—или, вѣрнѣе сказать, безразличія—элементовъ критики и націонализма въ русскомъ сознаніи. На счастье «тишайшаго» царя Алексѣя, ему не пришлось напрягать силъ для какой-нибудь крупной исторической борьбы, не пришлось идти къ цѣли черезъ трупы и топить въ винѣ и крови укору мятущейся совѣсти, какъ приходилось это дѣлать царю Ивану или Петру. Все это было бы для него совершенно непосильно. Ему привелось царствовать въ промежуткѣ между двумя историческими катастрофами, въ моментъ сравнительнаго затишья. Но и въ этомъ затишѣ все-таки было такъ много движенія, внутренней жизни, что къ концу царствованія Алексѣй Михайловичъ остался позади времени, съ своимъ пассивнымъ и лѣнивымъ оптимизмомъ. Остроумный историкъ московской Руси наглядно изобразилъ намъ историческую роль царя Алексѣя въ позѣ человека, занесшаго ногу впередъ, да такъ и застывшаго въ нерѣшительности. Но нерѣшительность «тишайшаго» царя была еще значительнѣе, чѣмъ можно было бы заключить изъ этой позы. Онъ вообще не любилъ никакихъ безпокойныхъ позъ. Онъ никуда не шелъ и даже не стоялъ: онъ просто спокойно возлежалъ на грудѣ обломковъ стараго и новаго, не разбирая, откуда что идетъ, и подобравъ подъ себя, что было помягче. Вмѣстѣ съ этой грудой его несло по теченію. Иногда это мирное плаваніе прерывалось неожиданными толчками изъ міра дѣйствительности, врывающимися непріятнымъ диссонансомъ въ созданную царемъ искусственную атмосферу покоя и комфорта. Тогда царь волновался,—волновался какъ ребенокъ, которому мѣшаютъ играть въ любимую игрушку. Но за него все устраивали другіе, и царь опять успокаивался до ближайшаго слѣдующаго толчка, который опять приходилъ неожиданно и проходилъ безслѣдно. Чѣмъ дальше, однако же, тѣмъ подводные толчки становились чаще и сильнѣе, тѣмъ яснѣе должно было стать, наконецъ, что кругомъ не все мирно и тихо; что тѣ элементы, которые такъ спокойно улеглись рядомъ въ обиходѣ царя,—суть элементы враждебные другъ другу; что подъ видимой тишью

*) См. «Очерки», II, 40—1. Ср. тамъ же на стр. 136—7 замѣчанія Костомарова о расколѣ, какъ о движеніи по существу своему новомъ и передовомъ для того времени, когда оно возникло.

и гладью скрывается незримая борьба, сталкиваются противоположныя теченія, которыя скоро разнесутъ на клочки самыя основы его благополучія. Что-нибудь подобное долженъ былъ чувствовать и самъ царь Алексѣй, сталкиваясь на своемъ жизненномъ пути съ безпокойными людьми, которые не желали знать и цѣнить его душевнаго мира, которые хотѣли борьбы и смѣло шли на нее. Когда, съ одной стороны, упрямый Аввакумъ отъ имени святой старины грозно звалъ царя на страшный судъ съ собой и заклиналъ его стряхнуть съ себя мірское забытье; когда, съ другой, молодой мечтатель, сынъ его любимца (Ордина-Нащокина) бѣжалъ на вольный просторъ мысли и жизни, за «рубежъ», отъ вымотавшаго душу московскаго болота,—тогда и «тишайшему» должно было, хотя минутами, придти въ голову, что мирное сосѣдство элементовъ критики и націонализма не есть нѣчто само собою разумѣющееся и вѣчное. Но, дорожа больше всего своимъ покоемъ, тишайшій царь отговяля отъ себя черныя мысли, слѣдую своему правилу: «нельзя чтобы не поскорбѣть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да въ мѣру, чтобы Бога наипаче не прогнѣвать». Съ этимъ благоразумнымъ режимомъ, въ которомъ самое горе обращалось на пользу, какъ своего рода гигиена души, царь Алексѣй кое-какъ сводилъ свои счеты съ настоящимъ, не безъ содѣйствія крѣпкихъ московскихъ тюремъ,—а о будущемъ не думалъ. Такимъ образомъ то среднее, скорѣе нейтральное положеніе между старымъ и новымъ, которое онъ занялъ, ничего не имѣло общаго съ «среднимъ» путемъ реформы, на который призывалъ его Крижаничъ. Робкаго и смирнаго царя, пасовавшаго передъ самыми пустыми жизненными затрудненіями, уступавшаго всякому сколько-нибудь настойчивому проявленію воли, просто-душно удивлявшагося, что въ дворцовомъ вѣдомствѣ слушаютъ его приказаній *), и принужденнаго,—чтобъ его на самомъ дѣлѣ слушали,—дѣйствовать либо хитростью, либо слезами, либо, въ крайнемъ случаѣ, недалекоимъ отъ слезъ нервнымъ крикомъ и жалкими словами,—такого царя невозможно представить себѣ въ роли смѣлаго реформатора.

Между тѣмъ, прошло царствованіе Алексѣя и вмѣстѣ съ нимъ прошелъ первый шансъ помирить или хотъ отдалить столкновеніе возникающихъ противорѣчій при помощи заблаговременнаго компромисса. Эти противорѣчія, едва обрисовавшіяся въ началѣ царствованія, къ концу уже выяснились совершенно: уживавшіеся когда-то рядомъ элементы критики и націонализма разошлись далеко въ противоположныя стороны.

Были, однако, люди, которые думали, что время среднихъ рѣшеній все еще не прошло безвозвратно. Надежда на реформу въ націоналистическомъ духѣ казалась тѣмъ основагельнѣе, что на самомъ дѣлѣ

*) «Слово мое *теперь* во дворцѣ добръ страшно и дѣлается безъ замедленія», шутливо пишетъ онъ Никону.

къ концу вѣка въ области національной мысли, національнаго чувства обнаружались совершенно новыя, небывалыя явленія. Въ своемъ мѣстѣ мы объ этихъ явленіяхъ говорили: всѣ онѣ сводятся къ подъему религіознаго сознанія—въ литературѣ (Великое Зерцало, см. «Очерки» II 174—5), искусствѣ (новыя теченія въ иконографіи, II, 209—12), въ богословской наукѣ («хлѣбопоклонная» ересь, II, 153), въ школьномъ дѣлѣ («Академія» II, 246—7). Всѣ эти явленія связаны также и источникомъ ихъ происхожденія: латинско-польскимъ вліяніемъ. Мы видѣли, что то же вліяніе обновляло и формы быта, не порывая въ то же время окончательно съ національной традиціей, чему содѣйствовало особенно посредничество Кіева. Словомъ, казалось, элементы реформы въ умѣренномъ-національномъ духѣ всѣ были на лицо. Скоро явился и реформаторъ, кн. В. В. Голицынъ, любимецъ Софьи. Реформаторъ имѣлъ широкую программу, лично имъ изложенную одному иностранцу (Нёвиллю). Въ программѣ значилось и устройство регулярной арміи, и постоянныя международныя отношенія Россіи съ заграницей, и полная свобода совѣсти и вѣры, и заграничное воспитаніе дѣтей, и замѣна натурального хозяйства денежнымъ, и даже освобожденіе крестьянъ съ земель. Голицынъ хотѣлъ заселить окраины, оживить торговлю и пути сообщенія въ Сибири, «нищихъ сдѣлать богатыми, дикарей превратить въ людей, хижины—въ каменные дворцы». Словомъ, здѣсь было очень много хорошихъ словъ и добрыхъ намѣреній: не было только единства мысли и практической точки опоры для осуществленія программы. За отсутствіемъ того и другого, не было и такого импульса, который бы помогъ претворить слово въ дѣло, и какихъ потомъ оказалось больше чѣмъ нужно въ реформѣ Петра, грѣшившей, какъ сепчасъ увидимъ, обратнымъ недостаткомъ. Петръ прямо начиналъ съ дѣла, а потомъ собирался подумать. В. В. Голицынъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи цѣлыхъ 7 лѣтъ, въ теченіе которыхъ могъ бы такъ же далеко уйти въ своей реформѣ, какъ Петръ, если бы онъ, подобно Петру, былъ человекомъ дѣла. Въмѣсто того, настоящее дѣло застало его врасплохъ и было сдѣлано вполне неудачно. Нельзя сказать, чтобы его время было занято и заботой о самосохраненіи, такъ какъ и въ этомъ отношеніи Софья пришлось, наконецъ, замѣнить его болѣе рѣшительнымъ Шакловитымъ.

Каковы же получились итоги семилѣтняго режима умѣренной реформы? Послушаемъ современника и панегириста регентства Софьи кн. Куракина, который находитъ, что «никогда такого мудраго правленія въ російскомъ государствѣ не было»,—противопоставляя его притомъ не только предыдущимъ «правленіямъ», но и послѣдующему. Къ сожалѣвію, главному аргументу Куракина—всего труднѣе повѣрить: будто бы, въ противоположность предыдущему и послѣдующему времени, семилѣтнее регентство отличалось господствомъ «правосудія» и «умноженіемъ народнаго богатства». «И торжествовала тогда

довольность народная», развиваеѣтъ онѣ свою мысль, «такѣ что всякій легко могѣ видѣть: когда праздничный день въ лѣтѣ, то всѣ мѣста кругомѣ Москвы за городомѣ, сходныя къ забавамѣ, какѣ Марьины рощи, Дѣвичье поле и проч. наполнены были народомѣ, которые въ великихѣ забавахѣ и играхѣ бывали, изѣ чего можно было видѣть довольность житія ихѣ». Эта сентиментальная наивность совсѣмѣ не подѣ стать обычнымѣ реалистическимѣ сужденіямѣ Куракина; но тѣмѣ интереснѣе для насѣ это отступленіе отѣ обычной манеры: онѣ повторилѣ, очевидно, то, что слышалѣ кругомѣ себя ребенкомѣ*). Мы узнаемѣ здѣсь, какихѣ похвалѣ добиваласѣ и какими довольствоваласѣ голицынская реформа. Это была очевидная фальсификація общественнаго мнѣнія, котораго Голицынѣ имѣлѣ всѣ основанія бояться.

Такую же рекламу видимѣ и во внѣшней политикѣ, непосредственно находившейся въ рукахѣ Голицына. Единственный успѣхѣ этой политики, вѣчный мирѣ съ Польшей (1686) и окончательная уступка Кіева, былѣ подготовленѣ неоднократными совѣтами гетмана Самойловича; но тотѣ-же Самойловичѣ еще настойчивѣе совѣтовалѣ даже и за эту цѣну не обязываться къ походу на Крымѣ, невозможность взятія котораго онѣ ясно видѣлѣ и предсказывалѣ. Такѣ же скептически онѣ относилѣ и къ идейной цѣли борьбы съ турками, въ качествѣ которой уже тогда — и такѣ же преждевременно, по мнѣнію Самойловича, — выдвинулось освобожденіе балканскихѣ народностей. Самойловичѣ указывалѣ, что въ лучшемѣ случаѣ задача эта выпадетѣ на долю поляковѣ, которые собственно и рисовали русскимѣ дипломатамѣ, уже въ 70-хѣ годахѣ, перспективу славянскаго объединенія. Но, пока русскіе будутѣ бесплодно возиться съ Крымомѣ, говорилѣ Самойловичѣ, поляки и ихѣ союзники австрійцы — будутѣ работать на Дунаѣ и за Дунаемѣ, и конечно, не въ пользу православной идеи. Если ужѣ хотятѣ сдѣлать эту идею задачей національной политики, такѣ пусть преслѣдуютѣ ее не тамѣ, гдѣ она пока еще недосыгаема, а у себя подѣ бомомѣ, въ польскихѣ владѣніяхѣ. Когда, наконецѣ, московскіе дипломаты откровенно выставляли послѣдній мотивѣ въ пользу войны, необходимость отвлечѣ внутреннее недовольство внѣшними предпріятіями, то Самойловичѣ и тутѣ подавалѣ дѣловой совѣтъ, которому вскорѣ и послѣдовалѣ Петрѣ. «Не надо держать въ Москвѣ много ратныхѣ людей: лучше разослать ихѣ по пограничнымѣ мѣстностямѣ для постройки крѣпостей, а въ Москвѣ держать одинѣ-два полка надежныхѣ людей, которыхѣ привлечь къ себѣ милостями». За эти совѣты, которымѣ нельзя отказать ни въ умѣ, ни въ знаніи дѣла, Самойловичѣ получилѣ выговорѣ, а потомѣ и отставку. Голицынѣ предпочиталѣ осторожной, дѣловой политикѣ — громкую, рассчитанную на казовой эффектѣ. Послѣ перваго неудачнаго похода на Крымѣ, онѣ выставилѣ такія условія мира, ка-

*) Въ годѣ паденія Софіи Куракину было 13 лѣтъ.

кихъ Екатерина II, вѣкъ спустя, не рѣшилась продиктовать послѣ своихъ побѣдъ, а послѣ второго—разгласилъ по всей Европѣ о своихъ небывалыхъ успѣхахъ. Какъ бы для наглядной иллюстраціи непрактичности московскаго правительства, его дипломаты появились во Франціи, чтобы убѣждать Людовика XIV помогать «недругу (Австріи) противъ друга (Турціи)». а оттуда проѣхали въ Испанію, чтобы сдѣлать въ истощенной странѣ крупный денежный заемъ. Въ активѣ регентства, подведенномъ Куракинымъ, это значило, что правительство Софьи заботится объ «алліансахъ» и поддерживаетъ «корришпонденцію со всѣми дворами въ Европѣ».

Первымъ условіемъ для блестящей вѣншей политики была коренная военная реформа, которую и проектировалъ Голицынъ, какъ мы видѣли. Но на дѣлѣ и здѣсь реформа не пошла дальше эффектнаго предисловія—заявленнаго уничтоженія (еще при Теодорѣ) мѣстничества, и безъ того ничему уже не мѣшавшаго въ военномъ дѣлѣ. Голицынъ воспользовался для своихъ походовъ той реорганизаціей арміи (по территориальнымъ округамъ, см. «Очерки», I, 164), которая давно уже проведена была по совѣту Ордина-Нащокина. Но не введя никакихъ новыхъ существенныхъ улучшеній, онъ долженъ былъ убѣдиться, какъ трудно съ подобной арміей осуществлять затѣянные имъ грандіозныя предпріятія.

Остается, стало быть, та культурная вѣншность реформы, которая свидѣтельствовала о главномъ источникѣ тогдашняго московскаго просвѣщенія. Какъ выражаетъ это Куракинъ—«политесь возстановлена въ шляхетствѣ и другихъ придворныхъ съ манеру польскаго: и въ экипажахъ, и въ домовномъ строеніи, и въ уборахъ, и въ столахъ». Правда, Куракинъ прибавляетъ еще: «и науки почали быть—латинскаго и греческаго языка»; но мы видѣли какъ разъ въ этомъ пунктѣ все безсиліе латинско-польской партіи въ Москвѣ провести свою образовательную программу, какъ она ни была умѣренна. Мы знаемъ, что открывшаяся, наконецъ, въ Москвѣ академія не только не отвѣчала по своему направленію стремленіямъ московскихъ реформаторовъ, но прямо налагала строжайшій запретъ на ту свободу совѣсти въ дѣлахъ вѣры и на ту свободу частнаго преподаванія, которыя такъ красиво фигурировали въ программѣ Голицына. Въ общемъ, приходится сказать, что умѣренность голицынской реформы состояла не столько въ ея направленіи,—которое гораздо ближе къ Петру, чѣмъ къ Крижаничу,—сколько въ ея неполнотѣ и нерѣшительности, зависѣвшей, быть можетъ, столько же отъ того, что временное правительство не чувствовало у себя твердой почвы подъ ногами, сколько и отъ того, что къ себѣ подъ ноги оно смотрѣло гораздо менѣе, чѣмъ въ туманную, заманчивую даль.

Контрастъ между этой государственной дѣятельностью Голицына и начавшимъ въ то же время опредѣляться времяпрепровожденіемъ молодого Петра былъ очень великъ и, казалось, говорилъ не въ пользу послѣдняго.

Въ то время, какъ Голицынъ окружалъ себя книгами, картами, статуями, Петръ съ азартомъ предавался спорту, а книгу допускалъ въ минимальныхъ размѣрахъ, лишь какъ необходимое зло для подготовки къ спорту же *). Голицынъ ѣздилъ въ Нѣмецкую Слободу для серьезныхъ политическихъ бесѣдъ съ солиднымъ Гордономъ, причемъ держалъ сторону конституціонной Англіи Вильгельма III противъ сторонника династическихъ притязаній Стюартовъ. Петръ слышать не хотѣлъ ни о какой политикѣ, тѣмъ болѣе русской, неразрывно снязывавшейся въ его тогдашнемъ представленіи съ торжественными оффиціальными аудіенціями, отъ которыхъ онъ бѣжалъ, какъ отъ чумы. Въ Слободу привезъ его кузень Голицына, «пьяница» Борисъ, но не для поучительныхъ бесѣдъ, а для баловъ и попоекъ, которые съ тѣхъ поръ и потянутся непрерывной чередой, подъ руководствомъ Лефорта, «дебопана французскаго». Пока Голицынъ мечталъ о «довольствѣ народномъ», Петръ исподволь принималъ мѣры для обезпеченія личной безопасности. Укрѣпивъ свое положеніе преданной военной силой, Петръ обнаружилъ полное пренебреженіе къ общественному мнѣнію и издѣвался надъ нимъ въ той же мѣрѣ, въ какой Голицынъ за нимъ ухаживалъ и его боялся. Голицынъ въ походахъ только и думалъ, какъ бы скорѣе вернуться въ столицу, чтобы разрушить козни враговъ; Петръ рвался изъ столицы въ походы, какъ бы чувствуя, что тамъ, при войскѣ, его сила, а заботу о столицѣ и объ общественномъ мнѣніи всецѣло свалилъ на плечи своего Аракчеева — князя-кесаря Ромодановскаго. И тогда, какъ Голицынъ высшей цѣлью своей политики считалъ заключеніе «аміансовъ», Петръ во что бы то ни стало искалъ хорошаго театра войны, гдѣ бы можно было разгуляться на волѣ его кораблямъ и пушкамъ.

О реформѣ еще не было сказано ни слова, но Петръ уже былъ въ самомъ руслѣ своей реформы: онъ весь тутъ и до конца жизни останется такимъ, какимъ сложили его десять подготовительныхъ лѣтъ (1686—1695). Кн. Куракинъ, своякъ Петра и свидѣтель, хотя и не близкій, его юношескихъ упражненій, сообщаетъ намъ полный списокъ тогдашнихъ талантовъ Петра вмѣстѣ съ именами его учителей. «Мастеромъ голландскаго языка былъ дьякъ посольскаго приказа, Андрей Виніусъ; для экзерцицій на шпагахъ и лошадяхъ—сынъ датскаго резидента Бутенанта; а для математики и фортификаціи и другихъ артеи, какъ токарнаго мастерства и для огней артифиціальныхъ—одинъ гамбургчанинъ Францъ Тиммерманъ; а для экзерцицій солдатскаго строю еще въ малыхъ своихъ лѣтахъ обучился отъ одного стрѣльца Присвова Обросима, Бѣлаго полку, а по барабанамъ—отъ старосты барабанщиковъ Федора, Стремяннаго полку. а танцовать по польски --- съ одной

*) До конца жизни Петръ сохранилъ такой взглядъ на книгу, какъ на руководство къ практическому дѣлу и терпѣть не могъ «лишнихъ разсказовъ, которые время только трагятъ и у чтущихъ охоту отъемлютъ».

практики въ домѣ Лефорта». Такова была академія, пройденная Петромъ. и дополненная потомъ въ Голландіи уроками кораблестроенія и зубодерганія. Во всемъ своемъ живописномъ безразличіи всѣ эти курсы наукъ, или лучше—искусствъ, твердо держались въ памяти Петра: до конца жизни онъ такъ же искусно выбивалъ барабанную дробь, дѣйствовалъ топоромъ на кораблѣ, дергалъ зубы, приготовлялъ фейерверки, говорилъ по-голландски съ моряками (для другихъ разговоровъ его знаніе было недостаточно), дѣлая притомъ все это и все другое, за что принимался, — съ такимъ увлеченіемъ, какъ будто очередное дѣло и было его главнымъ и единственнымъ занятіемъ. Этотъ талантъ—входить въ суть каждаго дѣла и отдаваться ему вполне—былъ, несомнѣнно, одной изъ основныхъ чертъ Петра, объясняющихъ секретъ его успѣха и характеръ достигнутыхъ результатовъ.

Но до результатовъ было еще далеко. Пока—видно было въ молодомъ Петрѣ только полное отсутствіе интереса къ государственнымъ дѣламъ и склонность къ разгулу, не знавшая ни удержу, ни мѣры, доводившая пьяную компанію до невѣроятныхъ предѣловъ цинизма, грубости и жестокости. Немудрено, что когда власть перешла изъ просвѣщенныхъ рукъ регентства въ невѣжественныя руки царицы Натальи и своекорыстныя руки ея ближайшихъ помощниковъ, то благомыслящіе люди, русскіе и иностранцы, пожалѣли о свергнутыхъ узурпаторахъ и пророчили Россіи возвратъ къ полной тьмѣ и невѣжеству. И у противниковъ новизны съ этимъ переходомъ власти на минуту воскресла надежда, что послѣ неудачи умѣренной голицынской реформы можно будетъ ликвидировать и всякую реформу вообще. Господиномъ положенія былъ патріархъ Іоакимъ, и онъ воспользовался своей силой, чтобы уничтожить латинскую партію въ лицѣ Медвѣдева («Очерки» II, 244—5), свободомыслящихъ въ лицѣ Кульмана (ib. 103) и чтобы начать форменное преслѣдованіе противъ свободы богослуженія въ Нѣмецкой Слободѣ. Смерть прервала его дальнѣйшую дѣятельность (іюль 1690), но что у него была цѣлая программа самой послѣдовательной реакціи, объ этомъ свидѣлствуетъ оставленное имъ завѣщаніе. Здѣсь онъ требовалъ отъ царя, чтобы иновѣрческія церкви были разрушены, иностранцы—лишены военныхъ и всякихъ другихъ должностей, всѣ сужденія о религіозныхъ предметахъ строго запрещены имъ, а всякая попытка распространять свою вѣру и нравы наказывалась бы смертною казнью *). Отъ русскихъ патріарховъ требовалъ, чтобы они никакихъ «новыхъ латинскихъ и иностранныхъ обычаевъ и въ платьѣ перемѣнъ по иноземски не вводили». Дѣло Іоакима долженъ былъ продолжать Адріанъ: кандидатъ, предложенный въ патріархи Петромъ, образованный и знакомый съ иностранными

*) Ср. проведенный Іоакимомъ при Голицынѣ уставъ Славяно-греко-латинской академіи, «Оч.» II, 243—5.

языками Маркелъ, былъ именно поэтому забракованъ и на всякій случай даже обвиненъ въ ереси. Петръ могъ пока отомстить только тѣмъ, что завелъ своего собственнаго «всешутѣйшаго» патріарха и «всепьянѣйшій» соборъ.

Такимъ образомъ, *формально* вопросъ о судьбѣ реформы оставался открытымъ вплоть до самаго начала самостоятельной дѣятельности Петра. *Фактически*, конечно, уже вполне выяснилось, что реформа неизбежна, и притомъ не реформа умѣренная, а крайняя, не реформа идеологическая, подготовленная книгой и литературой, а реформа произвольная, стихійная, вытекающая непосредственно изъ потребностей жизни; наконецъ, не реформа, основанная на народномъ сознаніи, а реформа, идущая наперекоръ этому сознанію, сверху,—реформа насильственная, необходимость которой предсказывалъ и ждалъ отъ царской неограниченной власти еще Юрій Крижаничъ.

Что реформа Петра была насильственной, въ этомъ такъ же мало сомнѣвались тѣ, кто ее проводилъ, какъ и тѣ, кто ей противился. Она была насильственна не только въ тѣхъ своихъ частяхъ, которыя были въ ней случайны и произвольны, но также и въ тѣхъ, которыя были существенны и необходимы. Мало того: насильственность реформы даже существенному и необходимому въ ней придавала характеръ случайнаго и произвольнаго, т.-е. облакала это существенное въ случайныя формы. Поэтому, признавать насильственный, личный характеръ реформы—вовсе не значитъ еще отрицать ея историческую необходимость, и, наоборотъ, доказывать необходимость реформы—вовсе не значитъ отрицать ея насильственный характеръ. Задача историка въ данномъ случаѣ именно и заключается въ томъ, чтобы показать, почему необходимая по существу своему реформа *) *должна была*, не могла не облечься въ формы личнаго произвола одного лица надъ массой и почему примѣненіе такого произвола было вообще *возможно*.

Возможность эта и необходимость создавались той культурной и социальной обстановкой, среди которой Петръ предпринялъ свою реформу. Конечно, при сколько-нибудь прочной культурной традиціи и при плотно организованныхъ классовыхъ интересахъ, подобный способъ побѣды критическихъ элементовъ былъ бы немыслимъ. Но мало сдѣлать общую ссылку на отсутствіе у насъ культурной традиціи и слабость классовой организаціи. Нужно остановиться еще нѣсколько подробнѣе на томъ несомнѣнномъ фактѣ, что въ Россіи, ко времени, когда стихійный ходъ жизни сдѣлалъ побѣду критическихъ элементовъ необходимою, сопротивленіе этихъ задерживающихъ силъ было особенно ослаблено, и для хозяйской руки реформатора созданъ, такимъ образомъ, особенно широкій просторъ.

*) Самая необходимость реформы по существу предполагается здѣсь доказанной въ тѣхъ частяхъ «Очерковъ», гдѣ рѣчь идетъ о стихійныхъ процессахъ развитія разныхъ сторонъ національной жизни.

Уже Фокеродтъ замѣтилъ (1737), что, «по мнѣнію многихъ разумныхъ людей, Петръ едва ли могъ бы такъ далеко пойти въ своей реформѣ, если бы ему пришлось бороться съ болѣе способнымъ духовенствомъ, которое сумѣло бы пріобрѣсти у народа любовь и уваженіе и воспользоваться ими къ своей выгодѣ». Замѣчаніе это имѣетъ болѣе глубокій смыслъ, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Если современное Петру духовенство не имѣло у народа ни любви, ни уваженія, то это объясняется не недостаткомъ ловкости въ немъ, а тѣмъ особымъ положеніемъ русской церкви, при которомъ она, дѣйствительно, потеряла ко времени Петра и ту долю вліянія на массу, какую позволяли ей имѣть уровень ея развитія и ея социальное положеніе. Мы видѣли («Оч.», II), что весь тотъ запасъ религіознаго чувства и нравственнаго одушевленія, который былъ на лицо среди русскихъ пастырей и паствы, — пошелъ на національно-религіозное движеніе XVI—XVII в. Мы знаемъ также, что это движеніе было одинаково осуждено и представителями кievской богословской науки, какъ недостаточно просвѣщенное, и представителями греческой церковной старины, какъ отступающее отъ древней традиціи. Правительство приняло точку зрѣнія кievлянъ и грековъ, и вслѣдъ за духовной властью, объявившей русское національно-религіозное движеніе расколомъ и проклявшей его, — съ своей стороны объявило участіе въ этомъ движеніи государственнымъ преступленіемъ, подлежащимъ карѣ свѣтскаго закона. Такимъ образомъ, критическіе элементы за полвѣка до Петра уже одержали побѣду надъ націоналистическими въ сферѣ религіозной, но это была побѣда бюрократической канцелярщины надъ народной психологіей. Всѣ, въ комъ живо было нравственное и религіозное самосознаніе — разумѣется, въ той единственной формѣ, какая была доступна тому времени, — всѣ эти люди были теперь отброшены въ оппозицію. Судьбу этой оппозиціи мы еще прослѣдимъ; но здѣсь мы должны констатировать, что этотъ переходъ въ оппозиціонный лагерь оставилъ очень замѣтную моральную пустоту въ лагерь правящемъ. Онъ именно подготовилъ и сдѣлалъ возможнымъ появленіе въ составѣ высшаго духовенства южно-русскихъ духовныхъ сановниковъ, принесшихъ съ собой свои научно-литературныя традиціи, а главное, ту угодливость и готовность служить интересамъ свѣтской власти, изъ которыхъ Петръ сдѣлалъ такое широкое употребленіе («Очерки», II, стр. 145—6). Но этимъ измѣненіемъ состава и паденіемъ самостоятельности высшаго русскаго духовенства не ограничились послѣдствія торжества официальной вѣры надъ народной. Это торжество внесло раздвоеніе въ душу огромнаго большинства современниковъ, всѣхъ тѣхъ, кто не былъ достаточно силенъ, чтобы разорвать окончательно или съ новымъ, или съ старымъ, перейти или въ тотъ, или въ другой лагерь. Совѣсть была сломлена или усыплена этимъ внутреннимъ раздвоеніемъ: а всего лучше подходили для наступившей ломки тѣ, у которыхъ она

совсѣмъ молчала *). Вотъ почему никакія надругательства Петра надъ тѣмъ, что только что считалось святымъ и неприкосновеннымъ, не могли вызвать сколько-нибудь сильнаго внутренняго сопротивленія въ окружающей его средѣ. Онъ какъ будто нарочно переходилъ отъ одной циничной выдумки къ другой, еще болѣе циничной, еще болѣе оскорбительной для чужого достоинства и совѣсти, умышленно и систематически насилуя всѣ вкусы, всѣ убѣжденія,—чтобы узнать, какъ много онъ можетъ себѣ позволить, и узнавалъ,—не испытывая даже удивленія, какъ извѣстный римскій императоръ,—что онъ все можетъ. Всякая форма, всякій мундиръ къ чему-нибудь обязываетъ. Надѣтый Петромъ мундиръ европейской культуры на первый разъ только *развязывалъ*, не обязывая ни къ чему, устраняя тотъ обязательный чинъ жизни, строй мысли и чувства, который было налаживался въ Москвѣ XVII в., и возвращая русскую жизнь къ той безформенности, съ которой мы уже привыкли встрѣчаться повсюду въ русской исторіи. При московскомъ чинѣ жизни, какъ ни былъ онъ плохъ и низменъ самъ по себѣ, все-таки, были вещи, которыя дѣлать было обязательно, и были другія, которыхъ дѣлать было *нельзя*. Теперь такихъ вещей не оставалось. Все было можно, и ничто не было обязательно, кромѣ очереднаго приказанія реформатора. А его натура была, какъ сейчасъ увидимъ, такова, что только и приходилось ждать *очереднаго* приказанія: система, новый чинъ жизни, новые порядки установились какъ-то сами собой. постепенно, изъ ряда такихъ очередныхъ приказаній, сплошь да рядомъ другъ друга отмѣнявшихъ. Окружавшимъ оставалось лавировать, какъ умѣли, въ этомъ новомъ фарватерѣ, въ которомъ только цѣль и общее направленіе оставались одни и тѣ же, а пути къ цѣли постоянно мѣнялись. дѣлая притомъ порою самые причудливые изгибы, самые неожиданные повороты.

Бюрократія, высшее духовное и свѣтское чиновничество были, такимъ образомъ, въ полномъ распоряженіи Петра. А кромѣ бюрократіи ему ни съ кѣмъ не приходилось считаться. Соціальная жизнь Россіи такъ сложилась ко времени реформы, что съ этой стороны реформатору встрѣчалось еще меньше препятствій, открывалось еще больше простора, чѣмъ со стороны культурной традиціи.

Въ промежуткѣ между распаденіемъ боярства и усиленіемъ дворянства, между XVI и XVIII вѣкомъ, бюрократія являлась единственнымъ господствующимъ классомъ. Мы видѣли, какъ дворянство, въ

*) Датскій посланникъ Юль въ 1709 г. замѣчалъ относительно раскольниковъ (очевидно, передавая общее мнѣніе): «Въ общемъ, раскольники честнѣе, богобоязненнѣе и трезвѣе противъ русскихъ, а по части христіанскихъ догматовъ начитаннѣе и просвѣщеннѣе ихъ». Въ то же время, изъ своихъ сношеній съ правящей бюрократіей, Юль сдѣлалъ такой общій выводъ: «Вообще, на русскихъ надо вліять лестью, водкой и взятками; всѣ же другія средства, вродѣ справедливости, права, на нихъ не дѣйствуютъ». Юль забылъ прибавить къ перечню этихъ средствъ еще одно,—ему, конечно, менѣе доступное,—именно «страхъ»

самый моментъ своей побѣды надъ боярствомъ и казачествомъ, добровольно уступило бюрократіи правительственную роль и отказалось отъ постоянного контроля надъ нею, какой могъ дать дворянству земскій соборъ (см. выше, стр. 75, 78, 81, 86—89). Послѣдствія этой безконтрольности оно очень скоро и непріятно почувствовало; однако не только ничего не сдѣлало, чтобы вернуть себѣ господствующее положеніе, но неохотно отвѣчало даже на прямые призывы къ нему въ этомъ смыслѣ со стороны правительства. Вѣроятно, это такъ вышло по той же причинѣ, по которой на пожарахъ того времени люди предпочитали сидѣть сложа руки и ждать, пока все сгоритъ у всѣхъ, высматривая только случай что-нибудь утащить изъ чужого имущества, а въ остальномъ полагаясь на волю Божію и на святые иконы *). Въ концѣ концовъ, правительство со второй половины XVII вѣка замѣнило земскіе соборы созывомъ свѣдущихъ людей, и политическая роль «ратныхъ людей», такъ же какъ и другихъ «чиновъ» московскаго государства, сдѣлалась историческимъ преданіемъ. Однако же, и бюрократія не много выиграла, въ политическомъ смыслѣ, отъ этого добровольнаго отказа. Та-же самая неорганизованность общественной жизни, которая мѣшала возникновенію политическаго самосознанія классовъ, лишала и бюрократію необходимыхъ орудій, при посредствѣ которыхъ она могла бы воспользоваться своимъ господствующимъ положеніемъ, чтобы сдѣлаться всемогущей. Только что наживши «неудобьсказаемыя палаты», представители этой бюрократіи могли подвергнуться линчеванію народной толпы.—и никто не могъ защитить ихъ; даже самому царю приходилось умиловать эту толпу слезами или кончать рукобитьемъ съ московскими бунтовщиками, въ ожиданіи, пока можно будетъ захватить ихъ такъ же врасплохъ, какъ они сами заставляли московское правительство. Крижаничъ очень хорошо объяснилъ характеръ этихъ московскихъ бунтовъ (1648 и 1662 гг.) и предсказалъ стрѣлецкіе бунты—тѣмъ совершенно вѣрнымъ замѣчаніемъ, что «нечестіе королямъ» со стороны «простого народа и войска» чинится обыкновенно тамъ, гдѣ нѣтъ господствующаго сословія или политически организованныхъ (снабженныхъ «слободинами») классовъ (см. выше, стр. 125—126). За отсутствіемъ таковыхъ, производить волненія въ Московскомъ государствѣ XVII в. было чрезвычайно легко, а усмирять ихъ весьма трудно, такъ что правительство обыкновенно прибѣгало, за неимѣніемъ силы, къ хитрости. Чтобы не имѣть самому дѣла съ массой, оно сперва разединяло ее, потомъ обѣщало всѣмъ полное прощеніе и уже только, когда все успокаивалось, захватывало и казнило намѣченныхъ раньше зачинщиковъ **).

*) См. многократныя наблюденія Юля, при которыхъ выгодно выступаетъ и роль Петра—въ организаціи борьбы съ общей опасностью, въ насильственномъ приучиваніи толпы къ общественному дѣлу и интересу.

**) Всего отчетливѣе можно прослѣдить эту тактику борьбы во Псковѣ, во время бунта 1650 г., и въ Астрахани (1671—2), во время возстанія Стеньки Разина.

Всѣ эти волненія. во всякомъ случаѣ, не только обнаружили безсиліе бюрократіи, но и показали, что у самихъ недовольныхъ также мало шансовъ—завладѣть положеніемъ. Русское общество постоянно распадалось при всякихъ волненіяхъ на тѣ же двѣ части, которыя намѣтились уже въ Смутное время. На сторонѣ власти оставались всѣ общественные слои, извлекавшіе выгоду изъ современнаго положенія вещей. Сюда относились, кромѣ, слоевъ прикосновенныхъ къ правительству, высшаго чиновничества, духовенства и купечества, также все дворянство и весь приказный чинъ. Къ противникамъ власти примыкали всѣ обдѣленные современнымъ порядкомъ: крестьяне и большая часть дворовыхъ людей («боярскихъ людей», «холоповъ»), рядовое городское населеніе («посадскіе») и часто низшее духовенство. Отрицательной программой всякаго бунта было: въ столицѣ изводить бояръ и высшихъ чиновниковъ, въ городахъ рѣзать воеводъ и приказныхъ, въ уѣздахъ избивать дворянъ и помѣщиковъ. Положительной программой, въ которой напрасно старались видѣть отголоски древняго вѣчевого строя,—былъ казакскій кругъ и казачье равенство. Наиболее яркое осуществленіе та и другая программа получили на примыкавшей къ Поволжью границѣ между осѣдлымъ населеніемъ и степью *) во время бунта Стеньки Разина. Этого было достаточно, чтобы до конца вѣка держать въ страхѣ власти; въ 1682 г. анонимный доносъ на Хованскаго приписываетъ ему эту самую разинскую программу. Но она и могла служить только орудіемъ агитаціи, матеріаломъ для доноса и «жупеломъ» для тогдашнихъ пугливыхъ людей. Серьезной опасности съ этой стороны грозить не могло. Разинская программа была черезчуръ ужъ проста въ своей отрицательной части и черезчуръ фантастична въ положительной. Нормальнымъ выходомъ для недовольныхъ былъ въ XVII вѣкѣ побѣгъ въ степь, къ казакамъ, а не водвореніе казацкаго строя среди осѣдлаго населенія.

Итакъ, исключительно вслѣдствіе отсутствія другихъ общественных силъ, а вовсе не благодаря собственному могуществу, бюрократія оставалась господиномъ положенія до конца XVII столѣтія. Къ концу вѣка, пожалуй, можно замѣтить слабые признаки того, что эта бюрократія, какъ будто, хочетъ замкнуться въ тѣсный кругъ и принимаетъ олигархическій оттѣнокъ. Русская чиновная знать узнаетъ кое-что про положеніе иностранной знати и перестаетъ довольствоваться «государевымъ жалованьемъ», какъ санкціей своего положенія. Ей хочется подняться на степень владѣтельныхъ князей западной Европы. Крижаничъ уже предлагалъ для этого создать особое сословіе «князей», обезпеченное чѣмъ то вродѣ феодальныхъ владѣній. Къ этому отчасти клонился и представленный Думѣ въ 1681 г. проектъ, дѣ-

*) На «Симбирской чертѣ», см. «Очерки», I, 57—8 (теперешнія Нижегородская, Пензенская и Тамбовская губерніи).

лившій Россію на намѣстничества и устанавливавшій іерархію новой чиновной аристократіи (I, 185—7 и ниже объ элементѣ «чина» въ этомъ проектѣ). Не разъ повторялись подобныя предложенія и въ проектахъ, поданныхъ Петру его совѣтниками. Но у Петра мало было охоты оживлять «дряблѣе, упавшее дерево» стараго боярства. Изъ всѣхъ аристократическихъ затѣй онъ принялъ только одну—законъ о майоратѣ, но и тотъ, въ его понятіи, долженъ былъ послужить на пользу не высшей аристократіи, а среднему дворянству (I, 183).

Если существовавшій социальный строй ничѣмъ не могъ помѣшать петровской реформѣ, то за то въ немъ не на что было и опереться. Эту опору власти надо было еще создать. Какъ поступилъ въ этомъ случаѣ реформаторъ?

Первыми сотрудниками Петра были, естественно, люди, сдѣлавшіе переворотъ въ его пользу: ему оставалось просто принять это наслѣдство прошлаго. Главные изъ нихъ, Борисъ Голицынъ, Левъ Кир. Нарышкинъ, Тихонъ Стрѣшневъ, какъ нельзя лучше представляли типичныхъ оттѣнка тогдашней бюрократіи: богатый, образованный по новому и лѣнивый титулованный аристократъ Гедиминовичъ, одинъ изъ тѣхъ, которые были не прочь дать феодальную опору старому титулу (и въ самомъ дѣлѣ Борисъ Голицынъ осуществилъ это стремленіе, сдѣлавшись «неограниченнымъ государемъ» Казанскаго дворца); представитель новой придворной знати, спѣшившей воспользоваться случайной близостью къ двору для скорой наживы. человекъ безъ прошлаго, неприготовленный къ власти и избалованный ею; наконецъ, тонкій и хитрый дѣлецъ, посѣдѣвшій въ приказахъ и умѣвшій держать въ своихъ рукахъ «секретъ всѣхъ дѣлъ». Никто изъ троихъ не понадобится Петру впослѣдствіи: ни титулованный бояринъ, манкирующий дѣлами, ни разжирѣвшій рабъ, котораго Петръ замѣнитъ своими, лично ему всѣмъ обязанными; ни приказный владѣлецъ государственныхъ секретовъ, которые Петръ будетъ хранить про себя.

Что касается боярства, среди него были люди, «которые старой вѣры не любятъ, а новую заводятъ»; упомянутый выше доносъ на Хованскаго перечислялъ до дюжины такихъ бояръ: «Одоевскихъ троихъ, Черкасскихъ двоихъ, Голицыныхъ троихъ, Шереметевыхъ двоихъ. И. М. Милославскаго и иныхъ многихъ». Но то была «новая вѣра» Никона и В. В. Голицына, а не «вѣра» Петра. Какъ относились бояре къ новой петровской вѣрѣ и какъ относился, въ свою очередь, къ нимъ самъ Петръ, это ярко иллюстрируетъ маленькая «сценка на похоронахъ Лефорта (1699 г.), записанная Корбонъ. Замѣтивъ, что бояре въ похоронной процессіи перемѣнили порядокъ, насильно занявъ переднее мѣсто, предназначенное для иностранцевъ, Петръ раздраженно крикнулъ: «Это собаки, а не мои бояре»; а когда послѣ похоронъ бояре спѣшили покинуть домъ Лефорта, какъ только ушелъ царь, — онъ совсѣмъ вышелъ изъ

себя, тотчасъ вернулся и проговорилъ: «Вы. можетъ быть, рады его смерти? Большую пользу вамъ принесла его кончина? Зачѣмъ расходитесь? Или, быть можетъ, отъ большой радости вы не въ состояніи дольше притворно морщить лица и дѣлать печальный видъ?» Очевидно, это самое желаніе сорвать ненавистную ему маску, обнаружить и наказать предполагаемое притворство—руководило Петромъ, когда онъ заставилъ этихъ самыхъ бояръ собственными руками рубить головы стрѣльцамъ, въ сочувствіи которымъ подозрѣвалъ ихъ.

Только одному Ѳ. Ю. Ромодановскому позволялось открыто порицать иностранцевъ и иностранные обычаи: Петръ цѣнилъ въ немъ то же качество, которое оплакивалъ въ Лефортѣ и которое Куракинъ формулировалъ словами: «Его величеству вѣрной такъ былъ, что никто другой». Это было то, чего Петръ искалъ въ своихъ сотрудникахъ прежде всего и въ чемъ его всего труднѣе было убѣдить, а разъ убѣдивъ, заставить разувѣриться. Среди тревожной обстановки его дѣтства въ немъ выработалось замѣчательное умѣнье притворяться, которому не разъ удивлялись иностранцы,—а вмѣстѣ съ тѣмъ и непобѣдимое недоувѣріе къ искренности его окружающихъ. Эта благопріобрѣтенная черта не позволяла ему до конца жизни ни на кого ни въ чемъ положиться и приводила къ тому же, къ чему и врожденная живость характера: къ желанію, превратившемуся въ потребность, самому все дѣлать, входя въ самыя мелочныя детали каждаго дѣла. «Нерѣдко,—разсказываетъ намъ Юль (1710),—когда въ откровенной бесѣдѣ заходила у насъ рѣчь объ удачѣ и подвигахъ великихъ государей, царь отдавалъ справедливость многимъ правителямъ и государямъ, въ особенности королю французскому (Людовику XIV), ..но большая часть ихъ, прибавлялъ онъ, обязана своими успѣхами многимъ разумнымъ и смышленнымъ людямъ, которыми могли пользоваться во всѣхъ, даже наиважнѣйшихъ вопросахъ; между тѣмъ какъ онъ, царь, съ самаго вступленія на престолъ, въ важныхъ дѣлахъ почти не имѣетъ помощниковъ и поневолѣ завѣдуетъ всѣмъ самъ». Въ совѣтахъ и совѣтникахъ, конечно, у Петра не было недостатка: чѣмъ дальше, тѣмъ ихъ являлось больше. Но это не мѣшало ему чѣмъ дальше, тѣмъ больше чувствовать себя одинокимъ, что, конечно, усилило печать индивидуальности, наложенную имъ на свою реформу,—часто къ ея несомнѣнному ущербу. Съ своимъ недоувѣріемъ къ людямъ, царь попадалъ въ какой-то заколдованный кругъ. Цѣня въ людяхъ прежде всего испытанную вѣрность себѣ, онъ имѣлъ очень ограниченный выборъ и ни на одинъ сколько-нибудь отвѣтственный постъ не могъ посадить лицо, дѣйствительно подходящее, а назначалъ фигурантовъ, ничтожества, не имѣвшія никакого понятія о дѣлѣ, которое должны были дѣлать,—только бы можно было положиться на ихъ преданность. Такимъ образомъ, Шереметевъ и Меншиковъ оказались фельдмаршалами, Головинъ и Апраксинъ—адмиралами, Головкинъ—министромъ иностранныхъ дѣлъ и

т. д. Правда, онъ не упускалъ случая приставить къ нимъ опытныхъ иностранцевъ-спеціалистовъ, которые собственно и дѣлали дѣло. Такъ былъ приставленъ къ Шереметеву Огильви для арміи, къ Апраксину — Крюкъ для флота, къ Головкину — Шафировъ, а потомъ Остерманъ для дипломатіи. Это, однако, только усилило для Петра необходимость за всѣмъ слѣдить самому, отчего реформа и получила, вопреки содѣйствію спеціалистовъ, случайный, отрывочный и дилеттантскій характеръ, отражавшій темпераментъ и состояніе знаній самого царя-реформатора. Другимъ послѣдствіемъ той же причины было полное равнодушіе ближайшихъ сотрудниковъ къ самому существу того дѣла, которое они вели; и чѣмъ ихъ положеніе становилось прочнѣе и обезпеченнѣе, тѣмъ сильнѣе обнаруживалось, что они преслѣдуютъ только личные, своекорыстные интересы. Въ другой формѣ, это были тѣ же самые враги реформы, отъ которыхъ царь надѣялся спастись назначеніемъ довѣренныхъ лицъ на отвѣтственные посты. Въ этомъ и заключался тотъ заколдованный кругъ, о которомъ мы говорили. Энергичный и настойчивый Петръ не хотѣлъ, однако, съ этимъ мириться. Едва онъ замѣчалъ, что лица перестаютъ соответствовать дѣлу, онъ тотчасъ принимался за ломку, какъ бы эти лица ни сдѣлались близки его сердцу. Вотъ почему столько блестящихъ карьеръ, начатыхъ при Петрѣ людьми случая, при немъ же и закончились эшафотомъ и ссылкой. Чѣмъ дальше, однако, тѣмъ труднѣе становилось вынимать колеса изъ заведенной машины и выдвигать на насиженные мѣста новыхъ людей. Къ концу царствованія этотъ диссонансъ между вновь сложившейся рутинной и непримиримымъ нигилизмомъ царя, сохранившаго среди новой обстановки всѣ старыя привычки, вынесенныя изъ Нѣмецкой Слободы, становился все чувствительнѣе и тяжелѣе для обѣихъ сторонъ. Съ своими требованіями полнаго простора и пустоты кругомъ онъ становился все болѣе анахронизмомъ среди сотканной имъ же паутины новаго житейскаго церемоніала; окружающіе утомлялись отъ этой необходимости быть вѣчно на сторожѣ и спѣшили припасти себѣ кое-что на черный день. Въ концѣ концовъ противъ царя составилъ какой-то молчаливый, пассивный заговоръ, не ускользнувшій, разумѣется, отъ его наблюдательности и только обострившій у него желаніе разорвать паутину. Въ 1719, отправляясь въ одну поѣздку, онъ прорвался и сказалъ — не кому другому, какъ Меншикову и Апраксину, — что ему отлично извѣстно, какъ въ сущности они несочувственно относятся ко всѣмъ его мѣропріятіямъ; что умри онъ, — и они не прочь будутъ бросить завоеванныя провинціи и Петербургъ и оставить на произволъ судьбы флотъ, который стоилъ ему столько труда, крови и денегъ. Исторія съ Монсомъ въ 1724 г. открыла Петру окончательно глаза на то, какъ страшно онъ одинокъ и изолированъ: онъ колебался между желаніемъ уничтожить все, разсыпать кругомъ страшные удары, и сознаніемъ невозможности начинать такъ поздно все опять сызнова, съ пустого мѣ-

ста. Единственнымъ возможнымъ исходомъ изъ этого трагическаго положенія была смерть.

Мы видимъ, что тотъ самый социальный и культурный просторъ который сдѣлалъ возможной побѣду крайняго направленія реформы, роковымъ образомъ наложилъ на реформу рѣзкую печать индивидуальности Петра, помѣшавъ ему установить взаимное довѣріе между собой и своими сотрудниками и подобрать для реформы подходящихъ людей. При полномъ отсутствіи той междуклѣточной ткани социальныхъ отношеній, которая вырабатывается культурнымъ процессомъ и одна можетъ обезпечить непрерывность социального дѣйствія—въ пространствѣ, также какъ и во времени,—при отсутствіи этого необходимаго условія сознательной реформы, Петру поневолѣ приходилось вѣрить въ одного только себя и полагаться лишь на собственные силы.

Но это еще не рѣшаетъ вопроса о томъ, на кого и на что опирался Петръ, чтобы дѣйствовать такъ рѣшительно, какъ онъ дѣйствовалъ, бравирюя вкусы, привычки, стремленія и интересы какъ ближайшей окружающей среды, такъ и широкой народной массы. Точка опоры у него была, очевидно, внѣ того и другого—слишкомъ узкаго и слишкомъ широкаго круга. Найти эту точку опоры не трудно: стоитъ лишь вернуться къ первымъ годамъ царствования Петра.

Напомнимъ здѣсь практическій совѣтъ Самойловича, переданный имъ черезъ думнаго дьяка Украинцева В. В. Голицыну: вужно для укрѣпленія за собой власти держать въ Москвѣ одинъ-два полка надежныхъ людей. Не принеся пользы В. В. Голицыну, совѣтъ дошелъ, однако,—только по другому адресу. Украинцевъ легко могъ передать его Стрѣшневу. Какъ бы то ни было, но съ этого самаго времени (1687) военныя забавы Петра сразу принимаютъ серьезный характеръ. Сознательность этой перемѣны засвидѣтельствована сверстникомъ Петра, однимъ изъ юныхъ спальниковъ, набранныхъ въ «потѣшныя полки», кн. Куракинымъ. По его словамъ, Петръ «привелъ себя тѣми малыми полками въ охраненіе отъ сестры» и «началъ приходить въ силу». И Шакловитый показалъ, съ другой стороны, что «въ то время (1687) у государя Петра Алексѣвича начали прибирать потѣшныхъ конюховъ, и оттого возродилось опасеніе», заставившее Софью начать усиленную агитацію среди стрѣльцовъ. Суть новой перемѣны именно заключалась въ томъ, что къ сверстникамъ изъ знатныхъ фамилій, записанныхъ къ Петру въ сотоварищи военныхъ игръ въ придворномъ чинѣ «спальниковъ», присоединены были теперь совсѣмъ простаго происхожденія ребята, «конюхи потѣшной конюшни», а также добровольцы изъ мелкаго дворянства, составившіе вмѣстѣ Преображенскій и Семеновскій полки. Кн. Куракинъ съ сокрушеніемъ замѣчаетъ, что окружающіе Петра лица, всѣ эти Нарышкины, Стрѣшневые, исходя изъ «домовъ самаго низкаго и убогаго шляхетства», «всегда вѣшали ему съ молодыхъ лѣтъ противъ великихъ фамилій» и что къ этому «и самъ его

величество склоннымъ явился, дабы уничтоженіемъ оныхъ отнять у нихъ пувуаръ весь и учинить бы себя наибольшимъ сувереномъ». Самъ Куракинъ пострадалъ отъ этого «уничтоженія великихъ фамилій», такъ какъ и онъ, вмѣстѣ съ другими «знатными персонами», былъ «отдаленъ», не смотря на свое званіе спальника, а «во всѣ комнатныя службы вошелъ отъ того времени (люди) простаго народу».

Такимъ образомъ, съ самыхъ первыхъ шаговъ Петра мы встрѣчаемъ обдуманную и сознательную систему устраненія аристократіи и привлеченія мелкаго дворянства, организованнаго въ гвардейскіе полки, для поддержки и усиленія власти государя. Если отъ начала царствованія перейдемъ къ концу, то встрѣтимъ тамъ ту же самую черту: она прошла неизмѣнной сквозъ всѣ перипетіи реформы. Петербургскія попойки того времени происходили въ нѣсколько болѣе приличной обстановкѣ и носили болѣе утонченный характеръ, чѣмъ московскія. Но одинъ моментъ, очевидно сохранившійся въ неприкосновенности отъ московскаго времени, вселялъ особенный страхъ и ужасъ въ иностранцевъ, обязанныхъ посѣщать эти увеселенія по торжественнымъ случаямъ. Это—тотъ моментъ, когда «человѣкъ шесть гвардейскихъ гренадеръ вносили на носилкахъ большія ведра съ самой простой сивухой, запахъ которой слышенъ былъ за сто шаговъ». За гренадерами шли майоры гвардіи, которые приглашали желающихъ и нежелающихъ пить изъ большого ковша, подносимаго рядовымъ, за здоровье ихъ полковника, т.-е. царя. Отказаться было невозможно; иностранцамъ объясняли, «что царь приказываетъ подавать именно это вино—изъ любви къ гвардіи, когорую онъ всячески старается тѣшить, часто говоря, что между гвардейцами нѣтъ ни одного, которому бы онъ смѣло не рѣшился поручить свою жизнь». Тотъ же Берхгольцъ, которому принадлежатъ эти свѣдѣнія, замѣчаетъ, что въ обоихъ гвардейскихъ полкахъ «большая часть рядовыхъ, по крайней мѣрѣ, очень многіе изъ нихъ,—князья, дворяне или унтеръ-офицеры изъ армейскихъ полковъ».

Мы имѣемъ, впрочемъ, наглядное доказательство того высшаго довѣрія, которое Петръ, вообще такой недоувѣрчивый, выказывалъ своей дворянской гвардіи. Въ ту пору, когда, какъ мы видѣли, онъ сталъ сомнѣваться въ своихъ ближайшихъ согражданахъ и товарищахъ,—для того, чтобы разслѣдовать ихъ темныя дѣла, наказать ихъ и вообще дать имъ понять, что онъ можетъ обойтись и безъ нихъ,—Петръ не нашелъ ничего лучшаго, какъ обратиться къ своимъ майорамъ гвардіи. Это былъ его послѣдній ресурсъ. Майоры, полковники и капитаны гвардіи явились предсѣдателями слѣдственныхъ комиссій и членами судовъ, обнаружившихъ цѣлый рядъ хищеній и безпорядковъ въ дѣятельности ближайшихъ помощниковъ Петра. Извѣстенъ рассказъ Фокеродта, что въ послѣдній годъ жизни Петръ, «потерявъ всякое терпѣніе», самъ вошелъ во всѣ подробности слѣдственныхъ дѣлъ, посадилъ возлѣ себя, въ особой комнаткѣ своего дворца, одного изъ та-

кихъ довѣренныхъ людей, генераль-фискала Мякина, и на его вопросъ, отсѣкать ли вѣтви, или рубить самый корень, отвѣтилъ: «искореняй все». Не менѣе любопытно и то, что Петръ насильно заставилъ дворянство принимать участіе въ выборахъ, и не только въ выборахъ мѣстныхъ-чиновниковъ (земскихъ комиссаровъ), но и въ выборахъ, посредствомъ баллотировки, высшихъ должностныхъ лицъ въ государствѣ. Такъ въ 1722 г. выборы президента юстицъ-коллегии произведены были съ участіемъ генераль-майоровъ, майоровъ и другихъ офицеровъ гвардіи, а также 100 человекъ выборныхъ отъ дворянства. Мы увидимъ скоро, что путь, указанный Петромъ дворянству къ достиженію положенія правящаго сословія, не былъ забытъ послѣ его смерти.

Мы познакомились теперь съ тѣми причинами индивидуальнаго характера реформы, которыя лежали въ условіяхъ обстановки. Намъ остается посмотрѣть, какъ именно и какія индивидуальныя черты личности Петра отразились на его реформѣ.

Относительно размѣровъ и характера личнаго вліянія Петра на реформу—уже его современники сильно расходились во мнѣніяхъ. Видя, какъ Петръ вездѣ—самъ, вездѣ—одинъ, окружающіе, естественно, получали впечатлѣвіе, что Петръ полный хозяинъ своей реформы. Онъ все знаетъ, все видитъ, все можетъ, все дѣлаетъ; онъ, какъ выразился Юль, «лично одаренъ столь совершеннымъ и высокимъ умомъ и познаніями, что одинъ можетъ управлять всѣмъ». Самыя грубыя забавы, въ какихъ только могла находить удовольствіе чуждая всякой тонкости натура Петра,—получали съ этой точки зрѣнія скрытый символическій, или,—какъ выражается Фокеродтъ,—«гіероглифическій» смыслъ. Его почти ежедневныя попойки, приводившія въ такой ужасъ иностранныхъ дипломатовъ и не прекращавшіяся со времени перваго выѣзда въ Слободу до послѣдняго мѣсяца жизни, представлялись важнымъ орудіемъ государственной машины,—какъ способъ узнавать тайныя мысли опьянѣвшихъ собесѣдниковъ. Привычка Петра стравливать, при помощи шутовъ, своихъ ближайшихъ сотрудниковъ, изобильно награждавшихъ при этомъ другъ друга плевками, пощечинами и выводившихъ на свѣжую воду взаимныя грѣхи, казалась могущественнымъ средствомъ правительственнаго контроля. Наконецъ, даже и неожиданныя выходки и вспышки самого Петра принимали видъ заранѣе обдуманнаго наполеоновскихъ пріемовъ, такъ какъ хотя и «нѣтъ никакой возможности догадаться, дѣйствуетъ ли онъ преднамѣренно или нѣтъ, но, конечно, вѣришь предположить, что государь такого ума говоритъ подобныя вещи не спроста и не иначе, какъ нарочно» (Юль). Словомъ, не довольствуясь тѣмъ несомнѣннымъ выводомъ, что Петръ умѣлъ извлекать выгоды изъ примитивности окружавшихъ его отношеній, его поклонники готовы были заключить, что самая примитивность отношеній—есть продуктъ высшей государственной мудрости Петра. По выраженію Фокеродта, они «вообразили себѣ, что во всѣхъ поступкахъ этого монарха должна

скрываться почти сверхчеловѣческая мудрость». Русскіе поклонники Петра скоро такъ и будутъ называть его—«земнымъ богомъ».

Однако, присмотрѣвшись ближе, наиболѣе проницательные изъ современныхъ наблюдателей пачинали наталкиваться на цѣлый рядъ мелочей и важныхъ вещей, которыя никакъ нельзя было объяснить съ только что указанной точки зрѣнія. Тотъ же Юль видитъ, какъ царь по цѣлымъ днямъ запирается у себя въ Преображенской избѣ или петербургскомъ домикѣ отъ всѣхъ государственныхъ дѣлъ и точить на своемъ станкѣ такъ усердно, «какъ будто бы работалъ за деньги и снискивалъ себѣ этимъ трудомъ пропитаніе»: или ловить его на попойкахъ, чтобы поговорить о важныхъ дѣлахъ, для которыхъ не назначено никакихъ опредѣленныхъ дней; или застаётъ его самолично сортирующимъ рекрутовъ: и онъ удивляется все больше и больше. «Непосвященный подумалъ бы, что никакого другого дѣла у него нѣтъ, тогда какъ во всей Россіи дѣла—гражданскія, военныя и церковныя—вѣдаются имъ однимъ, безъ особой помощи другихъ!» Богѣ посвященный, Фокеродтъ, не удивлялся, такъ какъ хорошо зналъ, какъ вѣдались всѣ эти дѣла въ петровской Россіи. Онъ зналъ, что «объ улучшеніяхъ во внутреннемъ государственномъ строѣ... Петръ почти не заботился или даже вовсе не заботился въ первые 30 (вѣрнѣе, 20) лѣтъ своего царствованія, лишь бы у флота и арміи было довольно денегъ, лѣса, рекрутъ, матросовъ, провіанта и аммуниціи»; что война и, насколько было для нея необходимо, иностранныя дѣла поглощали все его вниманіе. И какъ разъ въ военномъ и морскомъ дѣлѣ, самомъ близкомъ сердцу Петра, Юль, самъ морякъ-специалистъ и военный, наткнулся на такія вещи, которыя окончательно рѣшили его взглядъ на личную роль Петра въ его реформѣ. Въ маѣ 1710 г. Петръ со всей эскадрой отправился изъ Петербурга къ Выборгу, причемъ 1) «весь фаватеръ былъ еще покрытъ пловучимъ льдомъ», 2) «во всемъ флотѣ не было чело-вѣка, знакомаго съ фаватеромъ», 3) суда, построенныя изъ ели, были «большею частью непригодны для морского плаванія», 4) управленіе карбасами было поручено «крестьянамъ и солдатамъ, едва умѣвшимъ грести однимъ весломъ»; такъ что въ результатѣ весь флотъ едва справился съ погодой и только потому не сдѣлался жертвой шведской эскадры, что та случайно явилась двумя днями позже. Экспедиція, которая по всѣмъ человѣческимъ соображеніямъ должна была кончиться катастрофой, рѣшила взятіе Выборга,—и честный датчанинъ могъ только, разводя руками, цитировать Квинта Курція и Цицерона: «*temeritas in gloriam cessit; ut multum virtutі, plurimum tamen felicitatі debet*» *). «Если ужъ какому государю суждено стать великимъ, Господь Богъ благопріятствуетъ ему во всемъ, какъ бы ни было предаринато самое дѣло».

*) Опрометчивость обратилась въ славу. Хотя ты (Цезарь) многимъ обязанъ своимъ талантамъ, но болѣе всего обязанъ удачѣ.

Изъ двухъ противоположныхъ мнѣній которое же ближе къ истинѣ? Былъ ли Петръ самъ своимъ промысломъ или промыслъ сдѣлалъ свое дѣло помимо него и даже вопреки его поступкамъ? Мы не можемъ рѣшить этого вопроса, не познакомившись внимательнѣе съ тѣмъ, въ какой степени сознательно самъ Петръ относился къ своей реформѣ.

Ни русская современность, ни личный психическій складъ, ни условія воспитанія не могли создать у Петра привычки къ отвлеченному мышленію. Мы, слѣдовательно, не должны ожидать, чтобы Петръ на вопросъ объ общемъ значеніи своей реформы, о ея роли въ исторической связи явленій—отвѣтилъ намъ соціологическимъ трактатомъ. Когда ему приходится объ этомъ говорить—а это бываетъ нечасто—онъ просто повторяетъ то, что говорятъ кругомъ него иностранцы по этому поводу. Въ самомъ началѣ реформы мы слышимъ отъ Корба, что молодой царь предпочитаетъ забавамъ прежнихъ государей *«тяжелая забава любителей славы: военное искусство, потѣшные огни, пушечную пальбу, кораблестроеніе»*. Этотъ мотивъ крѣпко засѣлъ въ памяти Петра: черезъ полтора десятка лѣтъ (1715) онъ въ этихъ самыхъ выраженіяхъ старается втолковать царевичу Алексѣю важность своихъ раннихъ увлеченій, противопоставляя свои «тяжкія забавы»—«легкимъ забавамъ» отца и брата. Тотъ же Корбъ указываетъ и источникъ этого юношескаго настроенія: «Лефортъ указалъ царю истинный путь къ славѣ и, возбуждая его къ военнымъ подвигамъ, питалъ въ немъ стремленіе къ послѣдней». Итакъ, слава, какъ смутная цѣль, а какъ ея средства и атрибуты—армія и флотъ, салюты и фейерверки,—вотъ что рисовалось въ фантазіи будущаго реформатора въ моментъ первыхъ, подсказанныхъ, дѣйствительно, Лефортомъ предпріятій: азовскихъ походовъ и заграничной поѣздки. И до конца своего царствованія Петръ не потеряетъ чувствительности къ славі: онъ не прочь потягаться при случаѣ съ Константиномъ Великимъ и Александромъ Македонскимъ: «Александръ построилъ Дербентъ, а Петръ его взялъ»; «Людовику помогали, а Петръ все сдѣлалъ одинъ». Корабль, на которомъ онъ командовалъ—безъ всякихъ, впрочемъ, результатовъ—флотами четырехъ державъ (изъ которыхъ двѣ были представлены номинально),—этотъ корабль онъ пожелаетъ сохранить для потомства. Но Петръ слишкомъ прозаическая натура, чтобы вдаваться въ сентиментальности, слишкомъ большой утилитаристъ, чтобы связывать съ понятіемъ «славы» то представленіе, какое съ ней связываютъ иностранцы. Тѣ думаютъ при этомъ словѣ, прежде всего, о добромъ имени въ европейской семьѣ народовъ, о приобщеніи варварскаго народа къ цивилизаціи и гуманности. Петръ, напротивъ, постоянно подчеркиваетъ, что «слава» состоитъ въ могуществѣ Россіи и въ грозномъ положеніи, прибрѣтенномъ ею въ короткое время среди европейскихъ державъ. Желая доказать подданнымъ необходимость войны (въ памфлетѣ, написанномъ Шафировымъ), онъ упоминаетъ, конечно, что благодаря войнѣ мы «получили такія славы», но тотчасъ же спѣшитъ при-

бавить «*паче же*—безопасство» отъ сосѣдей; «могу сказать, что никого такъ не боятся, какъ насъ, за что Господу силъ да будетъ выну слава». Такимъ образомъ, къ политикѣ Петра вполне относится выводъ Фокеродта: «можно считать несомнѣннымъ, что простой русскій человѣкъ во всѣхъ своихъ поступкахъ съ иностранцами ничего другого не имѣетъ въ виду, кромѣ собственной выгоды, и меньше всего приходитъ ему въ голову думать о томъ, чтобы дать иностранцамъ выгодное понятіе о собственной особѣ». Горькимъ опытомъ иностранцы на каждомъ шагѣ убѣждались, что такія слова, какъ «*gloire, opinion (publique), point d'honneur*» и даже просто *honneur*—для русскихъ пустые звуки, что они смѣются надъ тѣмъ, кто готовъ добиваться «идейнаго блага» цѣной «реальнаго ущерба»; что поэтому они не признаютъ никакихъ обязательствъ, разъ послѣднія приходятъ въ коллизію съ ихъ ближайшими интересами, и поступаютъ, какъ имъ выгодно, предоставляя думать о себѣ, что угодно. Никакими убѣжденіями нельзя заставить ихъ повѣрить, что чужое мнѣніе можетъ опредѣлять ихъ поступки, что хорошая репутація нужна—даже съ точки зрѣнія личной выгоды. Они дѣйствуютъ, какъ купецъ, который фальсифицируетъ товаръ, не думая, что за то у него никто больше не купитъ. Всѣ эти наблюденія почти дословно повторяются иностранцами и въ началѣ (Корбъ), и въ серединѣ (Юль) и въ концѣ царствованія (Фокеродтъ). Такимъ образомъ, надо всегда помнить, что въ реформѣ Петра «слава» есть не идеальная цѣль, а вполне реальное средство, и что пользованіе этимъ средствомъ ничего не имѣетъ общаго съ желаніемъ—заслужить репутацію цивилизованнаго народа.

Но, однако же, стремленіе къ «славѣ» къ чему-нибудь обязывало не только во внѣшней, а и во внутренней политикѣ? Петръ не разъ говоритъ иностранцамъ, что его миссія въ этомъ отношеніи—превратить «скотовъ въ людей». Въ своихъ обращеніяхъ къ подданнымъ онъ выражается нѣсколько мягче: онъ хочетъ превратить «дѣтей» во «взрослыхъ». Суть его мысли, однако же,—еще мягче, чѣмъ эти сердигыя выраженія. Не воспитанный самъ, онъ уже просто потому не можетъ быть воспитателемъ и педагогомъ своего народа, что не имѣетъ представленія ни о задачахъ, ни о пріемахъ педагогіи. Мы это видѣли на отношеніи первыхъ петровскихъ школъ къ учащимся («Очерки» II, 283—4). Своихъ «дѣтей» Петръ, въ сущности, трактуетъ какъ взрослыхъ, и дѣло сводится совсѣмъ не къ воспитанію, а къ самообученію, къ усвоенію извѣстныхъ техническихъ пріемовъ и навыковъ. Петръ разсуждаетъ при этомъ приблизительно такъ, какъ заставляетъ его разсуждать Корбъ по тому же поводу. «Русскіе не хуже другихъ народовъ одарены отъ природы. У насъ такіе же руки, глаза и тѣлесныя способности, какъ у людей другихъ націй; если тѣ развили свой умъ, то почему же намъ не развить его: развѣ мы какіе-нибудь выродки человѣческаго рода? Умъ у насъ такой-же, и успѣвать мы будемъ

такъ же, *если только захотимъ*». Такимъ образомъ, задача реформы весьма упрощалась. Стоило только захотѣть,—какъ захотѣлъ самъ царь—и можно было немедленно стать въ уровень съ европейской культурой. Нужно было только приобрести необходимыя знанія. Приобрѣтя ихъ, можно было затѣмъ обойтись безъ дальнѣйшихъ услугъ иностранцевъ, т.-е. просто прогнать ихъ. Именно такъ и выражался Петръ, по словамъ неизданныхъ записокъ Остермана: «намъ нужна Европа на нѣсколько десятковъ лѣтъ, а потомъ мы къ ней можемъ повернуться задомъ». Какъ видимъ, это совсѣмъ не такъ далеко отъ программы Крижанича.

Что касается того, чтобы «захотѣть»,—въ этомъ у Петра недостатка не было. Воли у него было въ избыткѣ. Слѣдовательно, оставалось только «приневолить» своихъ подданныхъ—научиться тому, чему онъ самъ научился въ Нѣмецкой Слободѣ. Думалъ-ли Петръ о томъ, что это было далеко не все, чему можно было вообще научиться у Запада, и что самому цѣнному, что было въ содержаніи европейской культуры, вообще нельзя «научиться» такъ просто, а надо это нажить самимъ, воспитать въ себѣ—совсѣмъ въ иномъ смыслѣ, чѣмъ онъ воспитывалъ своихъ современниковъ? Если и думалъ даже, то, какъ человѣкъ практическій, онъ, конечно, не остановился бы на томъ, что было не въ его власти сдѣлать. Но чего онъ, навѣрное и не подозрѣвалъ вовсе—это то, что настоящая культура, съ ея условными и обязательными формами житейскаго общенія, съ ея уваженіемъ къ чужой личности, сдѣлала бы его собственные приемы насажденія культуры совершенно непримѣнимыми и невозможными.

Такимъ образомъ, въ реформаціонныхъ задачахъ и приемахъ своей внутренней политики, въ самыхъ даже крайностяхъ и увлеченіяхъ европеизмомъ—и именно въ этихъ крайностяхъ—Петръ остался, какъ и во внѣшней политикѣ, глубоко національнымъ, человѣкомъ своего времени и общества. Онъ могъ научить окружающихъ только тому, чему самъ научился; а самъ научился немногому: и только это немногое и можно было внушить подданнымъ тѣми способами, какими внушалъ онъ. Слѣдовательно, его культурная реформа стояла совершенно на уровнѣ его времени.

Ввести такимъ образомъ можно было только внѣшность культуры. Иностранцы очень хорошо замѣчали, что новые «болѣе мягкіе нравы» русскихъ суть только «подражаніе смягченнымъ обычаямъ» (Корбъ), и что «хотя по внѣшности они и отесаны немного и одѣты во французское платье, тѣмъ не менѣе внутри ихъ сидитъ прежній мужикъ (Юль)». Доказательства многочисленны и общеизвѣстны; но чтобы дать почувствовать наглядно, чего не хватало этой новонасажденной культурѣ сравнительно съ ея источникомъ, приведемъ маленькій эпизодъ столкновенія двухъ культуръ,—изъ воспоминаній того же Юля. Дѣйствіе происходитъ въ маленькомъ городкѣ Торнѣ, давшемъ пріютъ

Екатеринѣ въ 1711 г. «Я былъ пополудни въ церкви, — рассказываетъ Юль, — и пѣлъ вмѣстѣ съ остальною паствой. Вдругъ я замѣтилъ, что церковныя двери отворились, и въ нихъ появилась будущая (вѣнчаніе было въ 1712 г.) супруга царя съ лицами своей свиты. Онѣ колебались, стоя на порогѣ, войти или нѣтъ; но, увидавъ меня, вошли и помѣстились на моей скамьѣ—въ мужскомъ отдѣленіи—по двѣ женщины съ каждой стороны, чѣмъ привели меня въ крайнее смущеніе. Когда вслѣдъ за ними устремилось ко мнѣ еще нѣсколько женщинъ, я, какъ бы уступая имъ мѣсто, перешелъ съ моей скамьи и занялъ другую. Въ отдѣленій для молящихся стояло много русскихъ гвардейскихъ офицеровъ: они говорили, кричали и шумѣли, точно въ трактирѣ. Когда священникъ, войдя на кафедру, началъ говорить проповѣдь, женщины, успѣвшія соскучиться, вышли изъ отдѣленій и стали обходить церковь, осматривая ея убранство и громко болтая... Такъ какъ проповѣдь все продолжалась, то царица послала сказать пастору, чтобы онъ кончилъ... По окончаніи проповѣди, царица, услышавшая отъ кого-то, будто въ этой церкви похоронена Пресвятая Дѣва Марія, послала просить, чтобы останки (Божіей Матери) были выкопаны и переданы ей для перенесенія въ Россію»...

Не слѣдуетъ, однако же, черезчуръ низко цѣнить значенія той чисто внѣшней прививки новыхъ культурныхъ элементовъ, которою, по необходимости, ограничилась реформа Петра. Эти формы, пока еще не наполненныя содержаніемъ, были, однако же, ассоціированы съ *известнымъ*, вполне опредѣленнымъ содержаніемъ, отрицавшимъ соотвѣтственное содержаніе русской старины. Внѣшность, т.-е. одежда, пища, жилище, все это—части нѣмого языка культуры, который говоритъ тѣмъ краснорѣчивѣе, чѣмъ рѣзче противорѣчитъ окружающей внѣшности. Завоевать право на такое открытое противорѣчіе—значить очистить путь новой идеѣ, новому соціальному факту, преодолѣть важное препятствіе для его вступленія въ жизнь. Такой фанатическій противникъ петровской культурной внѣшности, какъ Константинъ Аксаковъ, лучше всѣхъ западниковъ понялъ важность этого перваго шага Петра и на себѣ испыталъ его трудность, попытавшись принять. Николаѣ I взволновать дворянскіе умы обратной реформой—пропагандой бороды и русской рубашки. Если эта параллель покажется неубѣдительною, напомнимъ другую, одинаковаго характера съ петровскою: напомнимъ, какихъ усилій стоили и какими протестами сопровождались въ *образованномъ* русскомъ обществѣ стриженные волосы эмансипированной женщины. Для стриженной бороды эмансипированнаго мужчины среди народной массы петровскаго времени—это сравненіе, впрочемъ, будетъ слишкомъ слабо. Тотъ, кто бывалъ въ турецкой современной провинціи и знаетъ, какому серьезному риску подвергаетъ себя мѣстный обыватель, который вздумаетъ замѣнить феску европейской шляпой, тотъ еще можетъ наглядно представить себѣ все

соціологическое значеніе стриженной бороды и венгерскаго костюма въ петровской Россіи.

Какъ-бы то ни было, вполне сознательнаго отношенія къ заимствуемой культурѣ, полнаго пониманія того, въ чемъ состоитъ ея содержаніе, невозможно искать ни въ реформаторѣ, ни въ реформѣ. Но служивія и упрощая задачи реформы, можетъ быть, за то реформаторъ остался ея полнымъ хозяиномъ въ этой болѣе ограниченной сферѣ? Можетъ быть, не овладѣвъ вполне оригиналомъ, онъ зато въ упрощенную копію внесъ все, что желалъ и какъ желалъ?

Нельзя сказать и этого. Чтобы охватить реформу въ ея цѣломъ, предварительно ее обдумать, распланировать и затѣмъ осуществлять въ извѣстной послѣдовательности и системѣ, для этого у Петра было слишкомъ мало знаній, а главное — слишкомъ неподходящая натура. Та же непосредственность натуры, которая исключала пониманіе болѣе глубокихъ и тонкихъ сторонъ европейской культуры, сдѣлала невозможной и систематически-обдуманную дѣятельность. Задерживающіе центры работаютъ еще слишкомъ слабо въ этомъ мозговомъ аппаратѣ. «Продолжительное занятіе однимъ и тѣмъ же дѣломъ повергаетъ Петра въ состояніе внутренняго безпокойства», замѣчаетъ Юль. За то, если Петра займетъ какая-нибудь мысль, она должна быть осуществлена немедленно. Онъ пріѣзжаетъ въ Дрезденъ: онъ былъ цѣлый день въ дорогѣ, люди измучены; уже вечеръ; время ужина. Ничего не значить: Петръ хочетъ видѣть кунсткамеру, — нужно отпереть ее, зажечь свѣчи и показывать ее Петру цѣлую ночь. Извѣстная нервная болѣзнь Петра еще усиливаетъ эту импульсивность, эту быстроту переходовъ отъ настроенія къ поступку и отъ настроенія къ настроенію. Въ январѣ 1710 г., веселый и радостный, онъ празднуетъ въ Москвѣ триумфальнымъ шествіемъ Полтавскую побѣду. Вдругъ онъ оставилъ свое мѣсто въ процессіи и во весь опоръ проскакалъ мимо кареты канцлера, въ которой сидѣлъ Юль. «Лицо его было чрезвычайно блѣдно, искажено и уродливо. Онъ дѣлалъ страшныя гримасы и движенія головою, ртомъ, руками, плечами, кистями рукъ и ступнями. Мы вышли изъ кареты и увидали, — какъ царь, подѣхавъ къ одному простому солдату, несшему шведское знамя, сталъ безжалостно рубить его обнаженнымъ мечомъ и осыпать ударами, — быть можетъ, за то, что тотъ шелъ не такъ, какъ хотѣлъ царь. Затѣмъ царь остановилъ свою лошадь, но все продолжалъ дѣлать гримасы, вертѣлъ головою, кривилъ ротъ, заводилъ глаза, подергивалъ руками и плечами и дрыгалъ взадъ и впередъ ногами... Никто не смѣлъ къ нему подойти, такъ какъ видѣли, что царь сердитъ и чѣмъ-то раздосадованъ». Съ такимъ темпераментомъ Петръ всегда страстно предавался дѣлу, которое интересовало его въ данную минуту, и забывалъ обо всемъ остальномъ. Его работа распадалась на детали, въ которыя Петръ погружался всецѣло: въ нихъ онъ чувствовалъ свою силу, ими наполнялъ безъ остатка свое время,

на нихъ удовлетворялъ своей потребности труда; но общій планъ этимъ самымъ отодвигался на второе мѣсто; на немъ сосредоточивать мысль было уже некогда, да и непривычно. Вотъ почему Петръ поставленъ былъ въ необходимость искать ресурсовъ, импульсовъ для своей детальной работы—извинѣ, вотъ почему онъ такъ жадно ловилъ всякія ука-занія и совѣты со стороны и такъ быстро пускалъ ихъ въ оборотъ, не согласовавъ и не продумавъ, только бы они подходили сколько-нибудь къ общему направленію его интереса въ данный моментъ.

Такого рода общее направленіе было, конечно, и у Петра; но оно опредѣляло характеръ его работы только въ самыхъ общихъ, черзчуръ общихъ чертахъ. Не охватывая однимъ взглядомъ всей своей реформы, не представляя себѣ отчетливо тѣхъ процессовъ, которые вызваны были его-же дѣйствіями, но не прямо, а косвенно, и фактически совершались, ускользая отъ его глазъ или отъ его вниманія, — Петръ схематизировалъ реформу въ своемъ сознаніи очень поверхностно и грубо. Онъ твердо зналъ во всю первую половину царствованія только одно: что надо во что бы то ни стало побѣдить непріятеля. Для его любимыхъ наклонностей, для его привычныхъ занятій — война слишкомъ много давала пищи, чтобы онъ еще захотѣлъ думать о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ того, что такъ или иначе, прямо или косвенно, относилось къ усиленію его военныхъ ресурсовъ. Потомъ, кромѣ «рощенія російской славы», его стало занимать также и «введеніе добрыхъ порядковъ». Чѣмъ дальше, тѣмъ больше онъ сосредоточивается на этой второй мысли. Въ 1719 г. французскій дипломатъ Ла-Ви записываетъ рѣчь, которую Петръ держалъ передъ отъѣздомъ въ Олонецъ. Послѣ того, какъ достигнута вышняя безопасность, говорилъ царь, онъ употребитъ всѣ усилія, чтобы прекратить эксплуатацію народа продажными чиновниками и судьями; обязанность монарха—охранить народъ отъ всякой несправедливости и искоренить самыми сильными средствами нечестность и испорченность бюрократіи. И, въ отвѣтъ на пышныя похвалы сената, предлагающаго Петру, по случаю Ништадтскаго мира, титулы «отца отечества» и «императора всеросійскаго»—за то, что онъ вывелъ Россію «изъ тьмы невѣдѣнія (т. е. неизвѣстности) на театръ славы всего свѣта», царь говоритъ знаменательныя слова: «надѣясь на миръ, не надлежитъ ослабѣвать въ воинскомъ дѣлѣ,—дабы съ нами не такъ стало, какъ съ монархіей греческой; (но также) надлежитъ трудиться о пользѣ и прибиткѣ общему... отъ чего облегченъ будетъ народъ».

Въ общемъ—задача опредѣлена такъ-же вѣрно и мѣтко, какъ и задача первой части царствованія. Но опять между этимъ общимъ опредѣленіемъ и деталями, между цѣлью и средствами лежитъ огромный пробѣлъ, заключающійся въ отсутствіи общаго плана и въ невозможности для Петра его заблаговременно обдумать и систематически осуществить. По старой привычкѣ, Петръ обращается къ средству уже испытанному: если въ устройствѣ арміи помогла иностранная техника,

то отчего же не поможетъ она и въ «введеніи добрыхъ порядковъ»? Эти «добрые порядки» ему представляются какимъ-то секретомъ,—вродѣ новаго тактическаго приѣма или ружья усовершенствованнаго образца,—который иностранцы таятъ про себя и который стоятъ только узнать, чтобы все пошло какъ по маслу. Уже въ 1709 г. онъ такъ и говоритъ Юлю: этотъ секретъ скрываютъ отъ него пруссаки. «Когда онъ собирался, во время заграничнаго путешествія, идти моремъ изъ Пиллау въ Кохбергъ, то бранденбургцы старались увѣрить его; будто по Балтійскому морю во множествѣ ходятъ турки и корсары, чтобы напугать этимъ и отклонить отъ поѣздки, которая-бы могла открыть ему глаза, ознакомивъ его съ состояніемъ другихъ краевъ, и тѣмъ способствовала-бы устройству собственнаго его государства по образцу Европы». Но Петръ перехитритъ иностранцевъ. Тайно, не говоря никому ни слова, онъ пошлетъ въ Швецію голштинскаго камеръ-рата Фика, чтобы списать по секрету всѣ шведскіе уставы и регламенты. Затѣмъ, останется только перевести ихъ на русскій языкъ и ввести у себя дома (Ср. «Оч.» I, 166).

Итакъ, вотъ какъ Петръ схематизируетъ свою реформу: сперва внѣшняя безопасность, потомъ внутренній порядокъ и правосудіе. Не надо, однако, забывать, что и эта схема вырабатывается только ко второй половинѣ царствованія *), такъ сказать *post factum*,—послѣ того, какъ юношескія мечты о славѣ и военныхъ забавахъ все равно втянули Петра въ войну, а постепенно развившееся недовѣріе къ ближайшимъ сотрудникамъ все равно заставило принять усиленные мѣры контроля **). И даже въ своемъ наиболѣе разработанномъ видѣ эта схема не можетъ замѣнить сознательно разработаннаго плана реформы, такъ какъ она для этого слишкомъ обща.

За отсутствіемъ идей, остается одно только чувство, постоянно возвышающее Петра надъ всѣми мелочами и деталями, въ которыхъ онъ ежеминутно захлебывается. Это чувство—очень сильно развитое въ Петрѣ; единственное, которое его дисциплинируетъ, замѣняетъ для него вѣсдержки, которыхъ не дало воспитаніе,—это чувство своей отвѣтственности, чувство долга, обязанности извнѣ наложенной. Любо-

*) Первое упоминаніе о ней находимъ въ знаменитомъ письмѣ къ сыну (1715 г.): «два «необходимыя дѣла къ правленію—еже распорядокъ и оборона». Тутъ и упоминаніе о греческой монархіи, погибшей отъ пренебреженія къ воинскому дѣлу, и о тяжкихъ забавахъ», необходимыхъ для государя: видно, что философія собственнаго царствованія далась Петру не легко, запечатлѣлась въ его умѣ лапидарными штрихами и пускалась въ ходъ лишь по особо торжественнымъ случаямъ, всера въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ.

**) Надо замѣтить, что кн. Куракинъ, въ одно слово съ жертвами Преображенской канцеляріи, утверждаютъ, что съ первыхъ годовъ петровскаго царствованія «началось неправое правленіе отъ судей и мздоимство великое и кража государственная»; онъ прибавляетъ, что все это «донынѣ продолжается (1727) съ умноженіемъ, и вывести сію язву трудно».

пытно, что и это сознаніе долга передъ родиной облекается у Петра въ форму, наиболѣе понятную для него и для его окружающихъ,—въ форму, заимствованную изъ военной службы, военной дисциплины. Онъ *служитъ* отечеству—не только какъ царь, какъ «первый слуга», какъ Фридрихъ Великій; вѣтъ—онъ прежде всего служить, какъ барабанщикъ, бомбардиръ, шаутбенахтъ, вице-адмиралъ. Въ Полтавской битвѣ онъ командуетъ своей отдѣльной частью, подвергаясь въ этотъ рѣшительный для его реформы моментъ одинаковой опасности со всѣми, хотя исходъ битвы можно считать предрѣшеннымъ. Въ 1713 г. вице-адмиралъ Крюйсъ предостерегаетъ Петра отъ рискованной морской авантюры; Петръ отвѣчаетъ: брать жалованье и не служить—стыдно. Во всемъ этомъ есть доля позы и доля буфонства; но во всей дѣятельности Петра мы не найдемъ другой болѣе глубокой, болѣе укоренившейся, почти сдѣлавшейся инстинктомъ, руководящей идеи, кромѣ этой идеи службы. И когда, въ послѣдній годъ жизни, онъ захочетъ втолковать своимъ подданнымъ ихъ обязанности къ народу, необходимость быть честными, не лгать, не грабить казну и не брать взятки, онъ не найдетъ иного способа, какъ распространить на эту сферу гражданскихъ отношеній тѣ же понятія военной службы и дисциплины. «Преступившихъ добровольно и сознательно въ дѣлахъ своей должности надлежитъ наказывать такъ же, какъ измѣнника, нарушившаго свою обязанность во время самаго боя,—ибо это преступленіе хуже измѣны: измѣну, увидавъ, можно остерегаться,—а здѣсь не всякій остережется, такъ какъ скрытое преступленіе можетъ долго течено свое имѣть»: погрѣшившій начальникъ не будетъ въ состояніи сдерживать подчиненныхъ, «и такъ мало-по-малу всѣ въ безстрашіе придуть и людей въ государствѣ разорять, и такимъ образомъ, хуже измѣны отдѣльнаго лица можетъ быть государству не только бѣдствіе, но и окончательное паденіе (тутъ, вѣроятно, опять рисуется Петру «монрхія греческая»).

Чувство долга, безъ сомнѣнія, помогаетъ Петру—среди всѣхъ колебаній и превратностей судьбы, среди собственныхъ увлеченій и капризовъ сохранить постоянное направленіе воли, переупрямить своихъ враговъ, своихъ союзниковъ, своихъ сотрудниковъ и свой народъ въ стремленіи къ достиженію разъ поставленной цѣли. Но замѣнить предѣленнаго плана, дать дѣйствіямъ Петра систему—и это чувство не можетъ.

Отсутствіе такого плана и системы, безъ сомнѣнія, должны были лишить реформатора возможности господствовать надъ реформой, руководить ея ходомъ вполне сознательно и цѣлесообразно. Другими словами, личное его вліяніе на реформу сильно сокращалось въ размѣрахъ при этомъ условіи. Но то же самое условіе дѣлало особенно рельефной, особенно замѣтной со стороны ту долю личнаго участія, которая все-таки оставалась. Личное участіе царя въ реформѣ, конечно, гораздо болѣе скра-

дывалось бы, если бы въ ней все совершалось въ свое время на своемъ мѣстѣ, при помощи разъ избранныхъ и приставленныхъ къ дѣлу посредниковъ и исполнителей. Но когда все распадалось на рядъ отдѣльныхъ, отрывочныхъ экспериментовъ, единичныхъ толчковъ, всякій разъ исправлявшихъ и замѣнявшихъ другъ друга и всякій разъ продиктованныхъ личнымъ усмотрѣніемъ Петра, тогда, разумѣется, вмѣшательство личности царя должно было чувствоваться и требоваться на каждомъ шагѣ. Если это былъ «промыселъ», то отнюдь не действской, а скорѣе фетишистской религіи: за отсутствіемъ общаго закона столько актовъ воли, сколько поступковъ. И здѣсь, конечно, сейчасъ же надо сдѣлать оговорку. Всѣ эти поступки, безъ сомнѣнія, не являлись безусловно изолированными, вполнѣ чуждыми одинъ другому. Если въ этой примитивной натурѣ не было твердаго скелета мысли, то за то не было и никакого упорства систематика; не было доктрины, но не было и доктринерства. Петръ съ удивительной легкостью и быстротой признавался въ своихъ ошибкахъ и никогда не уставалъ начинать сызнова. Такимъ образомъ, если его реформа и не вела прямымъ путемъ къ цѣли, то она и не кружила около и тѣмъ болѣе не топталась на одномъ мѣстѣ. Обыкновенно (хотя и не всегда, какъ увидимъ) ошибка служила урокомъ; новый экспериментъ вносилъ поправку: это была, какъ любилъ говорить самъ Петръ, его школа. Разумѣется, при такомъ несовершенномъ методѣ, ученіе могло продолжаться безконечно; и Петръ ошибался, когда по поводу Ништадтскаго мира опредѣлялъ курсъ своей выучки—тройнымъ цеховымъ (семилѣтнимъ) срокомъ. Онъ умеръ, не кончивъ курса и не выдержавъ экзамена по многимъ весьма существеннымъ предметамъ своей программы.

Стоитъ перебрать въ памяти всѣ главные предметы реформы Петра, чтобы убѣдиться въ правильности сдѣланныхъ замѣчаній. Учрежденіе постоянного войска и обезпеченіе его содержаніемъ — есть, конечно, одинъ изъ самыхъ важныхъ результатовъ реформы, на достиженіе котораго направлена была наибольшая часть заботъ и усилій Петра. Но надо знать, какія жертвы должна была принести страна людьми и деньгами для достиженія этого результата: только тогда убѣдимся, что результатъ не стоитъ ни въ какомъ соотвѣтствіи съ усиліями, что огромная часть ихъ была затрачена нецѣлесообразно и непроизводительно. Если же обратимся отъ войска къ военному дѣлу, то увидимъ, что тутъ до конца жизни Петръ остался ученикомъ самымъ непонятливымъ. Не говоримъ уже о Нарвскомъ пораженіи: Петръ самъ созналъ, что тутъ было одно «младенческое играніе» и что войну мы «начали, какъ слѣпые, не вѣдая силы противниковъ и своего состоянія». Но когда та же ошибка, опять по личной винѣ Петра, повторилась на Црутѣ; когда въ предпоследній годъ жизни его походъ на Дербентъ напомнилъ крымскіе походы Голицына,—то тутъ для сужденія о характерѣ личнаго вліянія Петра на ходъ военныхъ операцій не остается

сомнѣній. Пораженіе арміи Карла XII, какъ и пораженіе великой арміи Наполеона, есть, главнымъ образомъ, дѣло самихъ полководцевъ. Нельзя относить на счетъ Петра отсутствіе общаго плана войны, такъ какъ здѣсь онъ зависѣлъ и отъ противниковъ и отъ союзниковъ. Свое личное дѣло, завоеваніе моря, онъ сдѣлалъ и сумѣлъ отстоять: хотя, конечно, и тутъ—полное разореніе завоеваннаго побережья не свидѣтельствуетъ объ обдуманной программѣ завоеваній.

Гораздо ярче личный характеръ реформы отражается на созданіи флота. Ради флота Петръ велъ всѣ свои войны; но и эта задача до самой смерти осталась не вполнѣ осуществленной и распадалась на рядъ разрозненныхъ и недовершенныхъ до конца попытокъ, брошенныхъ частью самимъ Петромъ, частью его ближайшими преемниками. Скудость результатовъ сравнительно съ грандіозностью затраченныхъ средствъ тутъ выступаетъ особенно ярко. Уже не говоримъ объ игрушечной флотилии, парадировавшей при взятіи Азова; тотчасъ за этимъ вступленіемъ Петръ спѣшитъ однимъ почеркомъ пера создать настоящій большой торговый флотъ: землевладѣльцы построятъ ему 98 кораблей, и самъ онъ построитъ 90. Вернувшись изъ Голландіи, онъ забраковываетъ всю работу и начинаетъ все сначала (1700); это не мѣшаетъ ему, годъ спустя, хвалиться передъ Августомъ польскимъ, что у него 80 кораблей, по 60 и 80 пушекъ на каждомъ. Увы, когда наступаетъ время пустить корабли въ дѣло для завоеванія Финляндіи въ 1713 г., у Петра оказывается всего четыре линейныхъ корабля и пара фрегатовъ. Въ промежуткѣ однако Петръ не тратилъ времени даромъ; каждый годъ ѣздилъ на свою воронежскую верфь; кромѣ личныхъ усилій и заботъ, онъ положилъ тамъ огромныя суммы денегъ; сотни тысячъ людей умерли отъ болѣзней и голода «у гаваннаго строенія» (т.-е. у постройки новой Троицкой гавани возлѣ Таганрога, такъ какъ по мелководному Дону спускать большіе корабли оказалось невозможнымъ). Прутскій походъ сразу прикрываетъ все многолѣтнее дѣло: гавань скрыта, суда отданы туркамъ или гниютъ на мѣстѣ; ничего почти не приходится утилизировать для сѣвернаго судостроенія, куда теперь Петръ переноситъ всѣ свои заботы, стараясь какъ можно скорѣе нагнать упущенное время. Въ 1719 г. у него уже 28 линейныхъ кораблей, но сколько новыхъ усилій для этого результата! Олонецкая верфь удовлетворяетъ только на первые годы послѣ закладки Петербурга; перенесеніе ея въ Петербургъ тоже оказывается недостаточнымъ: по Невѣ нельзя выводить оснащенные корабли въ море безъ углубленія фарватера. Петербургскую верфь приходится дополнить кронштадтскою гаванью. Но послѣ ряда новыхъ усилій, послѣ новыхъ огромныхъ жертвъ людьми и деньгами, и Кронштадтъ перестаетъ удовлетворять: отъ прѣсной воды суда гниютъ вдвое скорѣе, по условіямъ мѣста изъ бухты можно выдти только при восточномъ вѣтрѣ, по условіямъ климата—гавань только полгода свободна отъ льда. За нѣсколько лѣтъ до смерти Петръ на-

ходить новое мѣсто: Рогервикъ, недалеко отъ Ревеля. Правда, шведы остановились передъ страшными расходами и физическими препятствіями для укрѣпленія этой бухты; но Петра такіе пустяки не могутъ остановить: и снова люди десятками тысячъ идутъ на новую работу; «всѣ лѣса въ Лифляндіи и Эстляндіи сведены» для ящиковъ, въ которыхъ погружаютъ на дно морское камень, наломанный въ со-сѣднихъ скалахъ; а неумолимая бури изъ года въ годъ, при Петрѣ и при Екатеринѣ, разносятъ всю людскую работу, такъ что наконецъ и этотъ проектъ «стоившій невѣроятныхъ суммъ», приходится бросить. Въ результатѣ, русскій флотъ *демонстрируетъ* въ Балтійскомъ морѣ, какъ онъ демонстрировалъ передъ Константинополемъ и передъ Азовомъ, но дѣйствительно важную услугу въ войнѣ оказываютъ только маленькія галеры, свободно пробирающіяся между шхеръ, въ виду шведскаго флота и арміи, и высаживающія то тамъ, то сямъ небольшіе десанты, которые разоряютъ берега и заставляютъ, наконецъ, Швецію вернуть себѣ безопасность въ собственной странѣ путемъ отказа отъ завоеванныхъ Петромъ заморскихъ провинцій. Но, можетъ быть, Петръ работалъ для будущаго? Въ 1734 г., всего девять лѣтъ послѣ его смерти, нужно запереть съ моря Данцигъ: Петербургское адмиралтейство можетъ снарядить самое большее—15 кораблей, да и для тѣхъ не хватаетъ экипажа и нѣтъ офицеровъ.

Небывалое напряженіе государственныхъ силъ для достиженія военныхъ задачъ Петра вызываетъ, какъ мы знаемъ («Очерки», I), непредвидѣнныя измѣненія въ другихъ частяхъ государственнаго строя, а необходимость считаться съ этими измѣненіями и здѣсь налагаетъ на стихійные историческіе процессы печать торопливости, отрывочности и безсвязности отдѣльныхъ экспериментовъ, ликвидирующихъ и исправляющихъ другъ друга. Не будемъ повторять здѣсь того, что объ этомъ говорилось въ отдѣлахъ о русскихъ учрежденіяхъ и финансахъ (I, 164—7). Напомнимъ, что даже и исторія школы не изъята изъ того же общаго правила—экспериментированія на ощупь (II, 277 и сл.). Не возвращаясь ко всему этому, остановимся еще только на одной области реформы, кажется, наиболѣе личной, наиболѣе зависѣвшей отъ воли реформатора и, слѣдовательно, наиболѣе доступной для планомѣрнаго выполненія. Петербургъ—это воплощеніе всѣхъ пристрастій и антипатій Петра, его любви къ морю и флоту, его потребности въ полномъ просторѣ, его привычки къ внѣшней обстановкѣ культуры, его ненависти къ старинѣ и его страха передъ глухой враждой старой столицы,—этотъ «парадизъ» Петра, созданный, по живописной финской легендѣ, цѣликомъ на воздухѣ и потомъ разомъ опущенный на болото, чтобы не потонуть въ немъ по кусочкамъ,—этотъ самый Петербургъ тоже отразилъ на себѣ не только все содержаніе реформы въ миниатюрѣ, но также и всѣ ея приемы. На этихъ маленькихъ клочкахъ земли, раздѣленныхъ невскими устьями, Петръ мечется десять лѣтъ безъ устали,

и въ результатѣ опять—масса непроизводительно затраченнаго труда, масса началъ безъ концовъ, великолѣпныхъ и дорогихъ проектовъ, оставшихся безъ исполненія,—и ничего цѣльнаго. То Петербургъ будетъ на теперешней Петербургской Сторонѣ,—и тамъ строятся церкви, биржа, лавки, зданіе для коллегій, частные дома, которые обязать построить каждый служащій дворянинъ, смотря по имуществу. То—лучше перенести торговлю и главное поселеніе въ Кронштадтъ; и тамъ, опять по наряду, каждая губернія воздвигаетъ огромный каменный корпусъ, въ которомъ никто никогда не будетъ жить и которыя постепенно разнаются отъ времени. Между тѣмъ, городъ возникаетъ на новомъ мѣстѣ, между Адмиралтействомъ и Лѣтнимъ Садомъ, гдѣ берегъ выше и наводненія не такъ опасны. И опять Петръ недоволенъ: на досугъ послѣднихъ лѣтъ ему приходитъ въ голову новая затѣя: Петербургъ обратить въ Амстердамъ, улицы замѣнить каналами,—и для этого перенести весь городъ на самое низменное мѣсто, на Васильевскій Островъ, раньше подаренный цѣликомъ Меншикову; а отъ наводненій и непріятельскихъ нападеній построить плотины. И опять все дворянство, уже обзаведшееся домами въ другихъ мѣстахъ Петербурга, приглашается обязательно строить новые дома на Васильевскомъ Островѣ. Умираетъ Петръ—и начатыя постройки забрасываются, приходятъ въ ветхость и служатъ только матеріаломъ для остроумъ: въ другихъ странахъ время создаетъ руины, а въ Россіи ихъ строятъ нарочно. «Ничего не было бы легче, какъ сдѣлать новый городъ (при помощи обязательныхъ построекъ) однимъ изъ красивѣйшихъ и правильнѣйшихъ въ Европѣ,—заключаетъ Фокеродтъ,—если бы только послѣдовали обычнымъ правиламъ архитекторовъ, и прежде чѣмъ строить, выработали бы опредѣленный планъ. Но дѣло пошло такъ, какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ въ Россіи: начали съ исполненія».

Довольно, кажется, всѣхъ этихъ сопоставленій для общаго вывода. Личность Петра видна всюду въ его реформѣ; на всякой частности лежитъ ея печать: и какъ разъ эта-то черта и сообщаетъ реформѣ въ значительной степени стихійный характеръ. Это безконечное повтореніе и накопленіе опытовъ, этотъ непрерывный круговоротъ разрушенія и созиданія, и среди всего какая-то неизсякаемая жизненная сила, которую не могутъ ни сломить, ни даже остановить никакія жертвы, никакія потери, никакія неудачи,—все это такія черты, которыя напоминаютъ расточительность природы въ ея слѣпомъ, стихійномъ творчествѣ, а не политическое искусство государственнаго человѣка. Дѣлая этотъ выводъ, мы не должны забыть еще другой черты, постоянно мелькавшей въ предыдущемъ изложеніи. Именно въ *этомъ* своемъ видѣ реформа перестаетъ представляться чудомъ и спускается до уровня окружающей дѣйствительности. Она должна была быть такой, чтобы соотвѣтствовать этой дѣйствительности: ея случайность, произвольность, индивидуальность, насильственность—необходимыя въ ней

черты; и не смотря на ея рѣзко антинаціональную внѣшность, она цѣликомъ коренится въ условіяхъ національной жизни. Страна получила такую реформу, на какую только и была способна.

Посмотримъ теперь, какъ отразилась первая побѣда критическихъ элементовъ на положеніи русскаго націонализма. Въ странѣ, сильно отставшей культурно, по необходимости принужденной заимствовать болѣе совершенную технику сосѣдей и поневолѣ перенявшей, вмѣстѣ съ техникой, нѣкоторыя внѣшнія формы ихъ быта,—въ такой странѣ, можно сказать а priori, націоналистическій протестъ долженъ былъ быть силенъ и долженъ былъ вылиться въ форму религіозную. Мы знаемъ, что въ самой религіозной сферѣ этотъ протестъ уже былъ на лицо, и что тамъ онъ тоже былъ вызванъ побѣдой критическихъ элементовъ. Расколъ именно и былъ такимъ протестомъ со стороны національной религіи, осужденной иноземною критикою. Въ своемъ происхожденіи, также какъ во внутренней логикѣ своего развитія расколъ былъ, какъ мы знаемъ, явленіемъ чисто религіознымъ, въ томъ смыслѣ, что онъ не имѣлъ характера «земскаго» или «соціального» протеста, какъ думали нѣкоторые изслѣдователи («Оч.» II, 45). Но не надо забывать, что сама русская религіозная мысль носила въ то время существенно-націоналистическій характеръ. Конечно, забота о душевномъ спасеніи вызвала расколъ; но забота эта вытекала не изъ какого-нибудь внутренняго процесса религіозной мысли или чувства, а изъ опасенія—лишиться испытанныхъ внѣшнихъ формулъ спасенія. Это былъ не порывъ—спасти свою душу путемъ личнаго усилія, а страхъ какъ бы не погубить ее по чужой винѣ. Словомъ, это была борьба за формы національной религіи, потревоженные греческой и кievской грамматикой. Все враждебное вѣрѣ оказывалось при этомъ заразъ враждебнымъ и національности: и даже эта антинаціональность служила главнымъ доказательствомъ антирелигіозности нововведеній. Такимъ образомъ, религіозный принципъ раскола какъ нельзя болѣе пригоденъ былъ для того, чтобы сдѣлаться принципомъ націоналистической реакціи.

Но для того, чтобы принять подъ сѣнь и охрану націоналистической религіи всю вообще національную старину,—нужно было, чтобы вся она подверглась преслѣдованію, т. е. чтобы и въ *другихъ* областяхъ жизни, какъ это случилось въ религіи, побѣду одержали критическіе элементы. Пока этого не случилось, расколъ не могъ сдѣлаться знаменемъ націоналистическаго протеста. Въ лагерьъ противоположномъ тоже еще слишкомъ много оставалось націоналистическихъ элементовъ, чтобы разрывъ, пока исключительно религіозный, могъ считаться окончательнымъ и безповоротнымъ: онъ просто былъ для этого недостаточно принципиаленъ. Лозунгъ протеста, въ упрощенной формулѣ протопопа Аввакума, гласилъ: «тверди: такъ въ старопечатныхъ книгахъ, да молитву Ісусову грызи,—и все тутъ». Но, увы, эта опора была вовсе не такъ прочна и незыблема, какъ казалось Аввакуму. Самое понятіе

«старопечатныхъ книгъ» при ближайшемъ знакомствѣ оказывалось совершенно условнымъ и относительнымъ. Книги печатались до Никона при пяти патріархахъ: Іовѣ, Гермогенѣ, Филаретѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ,—и всякій разъ съ исправленіями и перемѣнами. Всѣ онѣ въ свое время были «новопечатными», а нѣкоторыя натыкались даже на противорѣчіе, совершенно одинаковое съ раскольническимъ (какъ, напр., знаменитое исключеніе «и огнемъ» изъ филаретовскаго Требника). Спрашивалось, какимъ же именно «старопечатнымъ книгамъ» вѣрить и съ какого момента исправленіе книгъ считать ихъ порчей? У самого Аввакума, напр., въ Псалтири іоасафовскаго изданія стояло въ 104 псалмѣ «возврати», а у его товарища по изгнанію, діакона Ѳеодора, въ іосифовской Псалтири было правильное чтеніе «возрасти». «И за сію опись (разсказываетъ Ѳеодоръ) больше года бранился со мною Аввакумъ: ты-де старыя книги хулишь, а я-де за нихъ мучусь отъ никоніанъ давно прежде тебя... И послѣ отъ иныхъ Псалтирей позналъ, яко право глаголахъ ему; азъ ему и ту опись справилъ. И немудрая та рѣчь, и не богословская, да и о той у него велика толка была». Естественнo, что Аввакуму и той огромной массѣ, яркимъ представителемъ которой онъ былъ, трудно было принять выводъ Ѳеодора, что «за опись кую въ книгѣ какой ни есть и за погрѣшительное слово—не подобаетъ намъ ни спиратися, ни стояти». Но при всемъ упорствѣ съ обѣихъ сторонъ (такъ какъ и никоніане крѣпко вѣрили въ силу буквы), все-таки оставалось сознаніе, не уничтоженное даже неосторожнымъ проклятіемъ 1667 года, что и та и другая сторона стоять на одной почвѣ, что если не примиреніе, то побѣда и полное перерѣшеніе спора возможно для побѣжденныхъ. Не только обѣ стороны боролись одинаковымъ оружіемъ, но каждой случалось еще порой заимствовать оружіе у противника. Никонъ могъ, напр., съ досады, стоя на судѣ передъ патріархами, пустить въ ходъ раскольничій аргументъ, что «греческія правила не прямыя», что «печатали ихъ еретики» (ср. «Оч.» II, 39); и Аввакумъ могъ упорно защищать латинское мнѣніе о времени пресуществленія «святого сакрамента» (ср. «Оч.» II, 153). Такимъ образомъ, принципиальной основы для полнаго раздѣленія, въ сущности, не было. И такъ, расколъ уже потому не могъ въ XVII в. сдѣлаться исключительнымъ знаменемъ націонализма, что и господствующая партія вовсе не стояла подъ знаменемъ иноземной критики, да и самъ онъ не терялъ надежды стать на ея мѣсто.

Въ самомъ расколѣ, правда, уже не было единогласія въ этомъ послѣднемъ вопросѣ. Въ немъ уже складывалась непримиримая фракція, считавшая разрывъ принципиальнымъ и окончательнымъ, вѣрившая въ наступленіе антихристово царства, въ полное исчезновеніе христовой церкви и таинствъ. (См. «Оч.» II. 48 и сл.). Но господствующее настроеніе массы вѣрнѣе отражалось въ посланіяхъ Аввакума, который, правда, самъ не прочь поугатъ враговъ и друзей антихристомъ

и благословить на бѣгство изъ міра и на вольную смерть, но въ то же время не скрываетъ ни отъ себя, ни отъ другихъ своей вѣры въ скорое возстановленіе истины—и всѣми силами старается приблизить минуту этого торжества. Пока можно, онъ «докучаетъ» своими просьбами и угрозами царю Алексѣю, даетъ обѣтъ «не сводить рукъ съ высоты небесной», пока не обратитъ царя къ старымъ книгамъ. Потомъ онъ переноситъ надежды на Ѳедора, пишетъ ему и, наконецъ, передъ смертью своей (14 апр. 1682) и царя, благословляетъ своего любимого ученика Сергія «стужати царю о исправленіи вѣры». Недавно стало извѣстно, что это—тотъ самый Сергій, который такъ неудачно пытался съ помощью стрѣльцовъ выполнить завѣтъ своего учителя въ Грановитой палатѣ, передъ царевной Софьей и патріархомъ, 5 іюля того же года. Понятно, что въ ожиданіи скорой перемѣны Аввакумъ дорожилъ скрытыми союзниками изъ никоніанъ и соглашался на всякія поправки, чтобы только облегчить, а не затруднить связь между обоими лагерями. Онъ былъ противъ перекрещиванія и развѣнчиванія переходящихъ въ расколъ, готовъ былъ принимать православныхъ поповъ въ ихъ чинѣ, довозлѣствуясь раскаяніемъ; смотрѣлъ сквозь пальцы на участіе своихъ сторонниковъ въ православныхъ обрядахъ и таинствахъ, позволялъ имъ принимать у себя поповъ и отдариваться предъ властями, молиться за царя и оставаться на царской службѣ, не отрицалъ даже таинствъ, совершенныхъ новыми попами по старымъ книгамъ, а при употребленіи новыхъ книгъ—требовалъ только дополнительныхъ обрядовъ. Все это было принципиально немислимо; но Аввакумъ слишкомъ хорошо понималъ, что пока наставники спорятъ о догматическихъ тонкостяхъ, масса ждетъ и колеблется въ нерѣшительности: вотъ почему онъ такъ широко практиковалъ свою систему временныхъ отступленій—«по нуждѣ», ссылаясь на то, что «время изъ правилъ вышло».

Положеніе, дѣйствительно, было таково. Народная масса стояла внѣ обоихъ лагерей, не разрывая формально съ церковью, въ душѣ инстинктивно склоняясь къ старинѣ, но не зная хорошенько, въ чемъ она состоитъ, въ чемъ разница между «старой вѣрой» и «новой». Такихъ рисуютъ намъ это настроеніе разныя сцены во время стрѣлецкаго мятежа 1682 г. Стрѣльцы готовы воспользоваться своимъ господствомъ, чтобы потребовать публичнаго пересмотра религіознаго спора; но они еще не рѣшаются высказаться опредѣленно: половина подписываетъ челобитную, половина возражаетъ: «зачѣмъ намъ руки прикладывать? Мы отвѣчать противъ челобитной не умѣемъ... все это дѣло не наше, а патріаршее; а мы и безъ рукоприкладства рады тутъ быть, стоять за православную вѣру и *смотреть правду*, а по старому не дадимъ жечь и мучить». И они спрашиваютъ, въ лицѣ своихъ депутатовъ: «За что старыя книги отринуты, какія въ нихъ ереси, *чтобъ намъ про то вѣдомо было*», склоняясь про себя, разумѣется, къ тому,

что ересей въ старыхъ книгахъ нѣтъ, что стринуты онѣ напрасно, но предоставляя рѣшеніе дѣла властямъ и при первой опасности громко заявляя объ этомъ: «Намъ до старой вѣры дѣла нѣтъ; это дѣло патріарха и всего освященнаго собора».

Дать этотъ наглядный матеріалъ, недостававшій народу, для рѣшительнаго выбора между расколомъ и никоніанствомъ; популяризировать въ массѣ ненависть начетчиковъ къ «новой вѣрѣ», поразивъ народную мысль иноземными новшествами и тѣмъ отбросивъ эту массу въ принципиально враждебный лагерь; убѣдить ее до очевидности въ пришествіи и торжествѣ антихриста и въ необходимости спастись изъ міра: эту миссію исполнила петровская реформа. Она поставила разрывъ раскола съ церковью на ту принципиальную почву, которой до сихъ поръ не хватало, и тѣмъ превратила расколъ въ знамя національнаго протеста, въ оплотъ націоналистическихъ идеологій. Перемена позицій произошла необыкновенно быстро. Подъ извѣстнымъ намъ завѣщаніемъ патр. Іоакима самый нетерпимый раскольникъ могъ бы еще подписаться. Безсильное попустительство патр. Адріана петровскимъ новымъ модамъ — уже приводило въ негодованіе. Когда же послѣ Адріана церковь осталась вовсе безъ патріарха, раскольники потеряли всякій критерій для сужденія о ней и ея роли въ обществѣ. А время шло все такъ же быстро впередъ. Въ политическихъ видахъ Петръ преобразовалъ самое устройство церкви на протестантскій ладъ; ему случалось, уставши держать руки, въ качествѣ шафера, надъ женихомъ, приказывать прекратить вѣнчальный обрядъ (на свадьбѣ племянницы Анны Ивановны); онъ не стѣснялся даже разводить своихъ приближенныхъ (Ягужинскаго) съ женами и женить на другихъ; самъ онъ, какъ мы знаемъ, въ подобномъ случаѣ долго обходился и вовсе безъ вѣнчанія. Однимъ словомъ, церковь, послѣ такой огромной роли, какую она играла въ недавнемъ прошломъ, какъ-то вдругъ сразу сократилась и заняла болѣе чѣмъ скромное положеніе въ государственной и частной жизни. Естественнo, что при головокружительной быстротѣ, съ которой совершилась эта перемена, почва ушла изъ-подъ ногъ у ревнителей стараго благочестія; недавніе споры съ церковью сами собой отодвинулись такъ далеко назадъ, такъ странно было бы теперь тянуть ее къ отвѣту и строить на побѣдѣ надъ ней какіе-либо расчеты, — когда и сама она была уже не та, что прежде, и главный врагъ оказался совсѣмъ не тамъ, гдѣ его привыкли видѣть... Надеждъ на побѣду, разумѣется, теперь уже быть не могло. За то реформа Петра впервые подала расколу весьма основательную надежду на долгое, прочное существованіе, на обильную паству, на богатый матеріалъ для пропаганды — не одной уже «старой вѣры», но и вообще стараго націонализма. Враги Никона не могли не сблизиться съ новыми врагами Петра изъ никоніанъ: настоящіе старовѣры распылились въ массѣ «бородачей». Петръ не особенно преувеличивалъ, когда выра-

зился однажды, что вмѣсто одного бородача (онъ разумѣлъ самого Никона), ему приходится имѣть дѣло съ тысячею.

Реформа Петра, со свойственными ей приемами, дѣйствительно, не могла не послужить самымъ могущественнымъ орудіемъ для распространенія націоналистическихъ идеаловъ въ сѣрой массѣ. Бросая вызовъ всѣмъ старымъ привычкамъ, оскорбляя всѣ чувства, затрогивая всѣ интересы, эта реформа была не изъ такихъ, которыя скрываются въ глубинѣ канцелярій и теряютъ силу въ процессѣ нисхожденія и восхожденія по инстанціямъ. Она не могла остаться неизвѣстной самому послѣднему крестьянину въ самомъ глухомъ захолустьѣ: къ нему туда приходили, его нѣсколько разъ переписывали, безчисленное количество разъ облагали новыми, неслыханными податями и повинностями, отрывали отъ семьи и сохи и «выволакивали» на всевозможныя службы во всѣ концы государства. Въ своихъ собственныхъ платежныхъ квитанціяхъ онъ могъ прочесть длинную лѣтопись разрозненныхъ усилій Петра, то внося деньги на «дѣло кирпича» и «известное жженье» для петербургскихъ построекъ, то посылая людей «къ гаванному строенью» въ Азовъ или «на Котлинъ», то уплачивая дополнительные сборы на «драгунскія сѣдла», то собирая провіантъ и фуражъ и т. д. Но мало всего этого,—Петръ и самъ не оставался вдали отъ народной массы. Ежегодно онъ носился изъ конца въ конецъ Россіи; вездѣ его видѣли, всюду онъ являлся съ своими привычками, такими странными и такъ мало отвѣчавшими старой идеѣ о царской власти, съ своими новыми людьми, еще болѣе безцеремонными, чѣмъ онъ самъ. Словомъ, Россія была полна Петромъ и его реформой: прожить жизнь и не столкнуться съ нимъ, не попасть такъ или иначе въ тѣнь его гигантской фигуры—становилось просто невозможно. Что могло быть, повидимому, общаго между великимъ реформаторомъ и простымъ тамбовскимъ дьячкомъ? А между тѣмъ и тамбовскому дьячку оказалось тѣсно жить въ одной Россіи съ Петромъ. Какъ бы оправдывая народную жалобу, что «никуда отъ него не уйдешь», дьячекъ могъ уйти отъ Петра—только на плаху. Мирно жилъ этотъ дьячекъ Степанъ въ Тамбовѣ, пока не началъ ему наговаривать Савва монахъ: «Было благочестіе, а нынѣ отпало, какъ и Римъ отпалъ; царь Петръ—антихристъ, потому что владѣетъ одинъ, безъ патріарха; а что бороды брить и у драгуновъ раскаты — это антихристова печать». Степанъ смутился; пересталъ, на всякій случай, въ церковь ходить и пошелъ къ духовнику за совѣтомъ. Услыхавъ про Петра-антихриста, духовникъ, къ слову, вспомнилъ: «Были мы на Воронежѣ въ пѣвчихъ и пѣвали передъ государемъ и при его компаніи; зашелъ разговоръ о Талицкомъ (авторъ памфлета о Петрѣ-антихристѣ, казненный въ 1701 г.); царь и говоритъ: «Такой онъ воръ—Талицкій; ужъ и я антихристъ! О Господи, ужъ и я антихристъ предъ Тобою!» А мы еще, то слыша, подумали: Богъ знаетъ, къ чему это онъ говоритъ»... Разумѣется, та-

кое совпаденіе подкрѣпило подозрѣнія Степана; а тутъ еще прочелъ онъ въ старопечатной Кирилловой книгѣ: «Во имя Симона Петра иматъ сѣсти гордый князь міра, антихристъ». Нѣтъ сомнѣнія: Петръ—антихристъ; вотъ и прохожая женщина рассказываетъ: были ея родственники въ Суздаль, гдѣ заточена царица (Евдокія Лопухина), и царица говорила людямъ: «Держите вѣру христіанскую, это не мой царь, иной—выше». Со страха, богобоязненный дьячекъ постригся отъ живой жены въ Трегуляевскомъ монастырѣ, подъ именемъ Самуила. Смотри, говорили ему, на монастыри первое гоненіе будетъ. «Нѣтъ нужды,—отвѣчалъ онъ,—тогда я въ горы уйду». Дѣйствительно, и въ монастырѣ Петръ не оставляетъ въ покоѣ разыгравшееся воображеніе Самуила. То какой-нибудь монахъ расскажетъ ему, что «теперь надъ нами царствуетъ не нашъ государь, а сынъ Лефорты», подмѣненный вмѣсто родившейся у Алексѣя Михайловича дѣвочки; то Самуиловъ дядя, тоже монахъ, успокоитъ племянника, что Петръ—только «предтеча» антихриста. Попалъ по какому-то дѣлу Самуилъ въ Воронежъ и рѣшилъ подѣлиться своими свѣдѣніями съ православными: написалъ письмо, что Петръ—антихристъ и подбросилъ въ неизвѣстный дворъ. Идетъ обратно; на пути въ селѣ Избердеѣ боярскій сынъ сообщаетъ ему новость: «А вѣдь говорятъ, нашъ царь пошелъ въ Стекольную (Стокгольмъ), и тамъ его посадили въ заточеніе, а это не нашъ государь». И Самуилъ про себя думаетъ: ну, такъ и есть, антихристъ. Пришелъ въ монастырь Духовный Регламентъ—царь отводитъ отъ монашества: явно антихристъ; ничего не подѣлаешь, надо бѣжать въ пустыню. Самуилъ бѣжитъ, его ловятъ, возвращаютъ въ монастырь. Сидя на цѣпи, монахъ думаетъ: «Игумену ни за что не поклонюсь: онъ слуга антихриста». Отсидѣлъ—и таки бѣжалъ опять, въ степь, оттуда пробрался къ казакамъ. Идея объ антихристѣ и тутъ не оставляетъ Самуила; встрѣтитъ онъ простого бурлака, ему внушаетъ про царство антихриста; а то наткнулся на попа, который по своему мстилъ Петру: на ектеніяхъ онъ поминалъ вмѣсто «императоръ»—«имперетеръ» на томъ основаніи, что Петръ всѣхъ людей «перетеръ». Но тутъ случилось неожиданное: Самуилу попали въ руки правительственныя изданія противъ раскола; онъ прочелъ, пересталъ проповѣдовать про антихриста, обратился въ православіе и вернулся въ монастырь къ мирной жизни. Тщетная надежда: Петръ не даетъ никому пожить мирно. Самуилъ изъ своего Трегуляевского монастыря переведенъ въ московскій Богоявленскій, и велѣно ему посѣщать школу. Онъ бы и не прочь почитать хорошую книжку, но учиться грамматикѣ въ его возрастѣ уже трудно. Попробовалъ было не ходить въ классы: префектъ грозить плетью. И раздраженіе противъ царя,—теперь уже не антихриста,—снова растетъ въ душѣ Самуила. Въ такомъ настроеніи его застаютъ извѣстіе: жена его вышла замужъ за другого Самуилъ пораженъ въ самое сердце: и жены жаль, и на себя досадно, что ввелъ

ее въ грѣхъ. Но кто главный виновникъ? И тутъ все онъ же, опять Петръ, опять его Регламентъ: вѣдь хотѣла жена постричься: вѣтъ, не позволили! Товарищъ Самуила. другой монахъ, тоже бранить Регламентъ, тоже поджигаетъ Самуила. И вотъ, доведенный до крайней степени раздраженія, совсѣмъ потерявшій душевное равновѣсіе, не зная, на комъ и какъ сорвать свою злобу, Самуилъ хватаетъ клочки бумаги и принимается—исключительно «для покою въ совѣсти», отнюдь не для пропаганды—отводить свою душу письменной бранью противъ вѣчнаго своего врага, императора. На горе монаха, одна такая бумажка попала къ кому-то на глаза, препровождена была куда слѣдуетъ,—въ Тайную Канцелярію,—и пропалъ Самуилъ. Не помогли ни оправданія, ни объясненія: его казнили.

Эта исторія маленькаго человѣка поможетъ намъ наглядно представить себѣ, до какой степени насыщена была общественная атмосфера раздраженіемъ противъ преобразователя. Епископъ Досиѣей, колесованный за сношенія съ постриженной царицей Евдокіей, далъ самую краснорѣчивую характеристику этого настроенія, когда передъ соборомъ архіереевъ, вмѣсто всякихъ показаній, заявилъ: «Посмотрите, что у всѣхъ въ сердцахъ! Извольте пустить уши въ народъ,—что въ народѣ говорятъ,—а самъ я объ этомъ говорить не стану». Что говорилъ народъ, дѣйствительно, слишкомъ хорошо было извѣстно въ московскомъ застѣнкѣ: пусть читатель прочтетъ извлеченную оттуда, трепещущую жизнью, страницу исторіи Соловьева, съ ея постояннымъ рефреномъ: «Какой онъ царь!»

Казалось бы, если когда-либо можно было ожидать, что «старая вѣра» сдѣлается знаменемъ широкаго политическаго и соціальнаго протеста, то это именно въ описываемое время. Не даромъ же иностранные резиденты при русскомъ дворѣ такъ напряженно ждали, что не сегодня-завтра въ Россіи разразится что-нибудь такое, что положить конецъ всей этой адской стряпнѣ. Не даромъ и въ самой Россіи, въ кругахъ сгруппировавшихся около царевича Алексѣя, изъ году въ годъ возрастало нетерпѣливое, нервное предчувствіе развязки; казалось, что вотъ-вотъ потерпитъ царевичъ еще 2—3 года въ монастырѣ или заграничѣ, а тамъ и можно будетъ кликнуть кличъ «отъ архіереевъ—священникамъ, отъ священниковъ—прихожанамъ». Но и иностранцы, и русскіе недовольные сводили счеты безъ хозяина. Царевичъ за свою неясную мечту не то о смерти отца, не то о бунтѣ—поплатился жизнью. Религіозный протестъ, дѣйствительно, превратился въ общенациональный; но изъ національнаго соціальнымъ и политическимъ не сдѣлался. Это не значитъ, что соціального протеста вовсе не существовало; но, какъ и до Петра, онъ шелъ своей отдѣльной струей, и всѣ попытки сліянія его съ религіозно-национальнымъ протестомъ не привели ни къ чему.

На взаимныхъ отношеніяхъ этихъ двухъ отдѣльных теченій, ре

лигіозно-національного и соціального, намъ необходимо остановиться, однакоже, нѣсколько внимательнѣе, чтобы пояснить только-что сдѣланное утвержденіе.

Изъ основныхъ принциповъ раскола нельзя было сдѣлать никакихъ соціальныхъ выводовъ. Только въ нѣкоторыхъ крайнихъ толкахъ безпошовщины (какъ, напр., странники, см. «Очерки», II, 88), мы встрѣчаемся съ опредѣленнымъ соціальнымъ ученіемъ, и то выработаннымъ довольно поздно. Вообще же расколъ относился къ соціальнымъ вопросамъ совершенно нейтрально. «Кой во что призванъ, въ томъ да пребываетъ», такъ формулировалъ Аввакумъ это основное правило раскола. Конечно, расколу пришлось все-таки стать въ оппозицію государственной власти, но лишь постольку, поскольку эта власть являлась представительницей интересовъ государственной церкви. И притомъ, даже эта оппозиція была не активная, а пассивная; расколъ дѣйствовалъ по отношенію къ государству оборонительно, а не наступательно. Самымъ активнымъ проявленіемъ самаго нетерпимаго отношенія раскола къ свѣтской власти—было самоубійство, самосожженіе: мученичество за вѣру, а не борьба за ея торжество.

На активную борьбу расколъ самъ по себѣ былъ не способенъ. Это, однако же, не исключало возможности попытокъ воспользоваться оппозиционнымъ настроеніемъ раскола, чтобы привлечь его къ союзу съ элементами дѣйствительно активнаго протеста. Степанъ Разинъ еще не знаетъ хорошенько, гдѣ искать на Руси представителей религіознаго протеста, но онъ ихъ уже ищетъ и предлагаетъ имъ свой союзъ. Его эмиссары появляются и у изгнаннаго патріарха Никона, и у взбунтовавшихся противъ его нововведеній иноковъ Соловецкаго монастыря. Конечно, эта первая попытка остается безъ всякихъ результатовъ. Годъ спустя послѣ казни Разина положеніе дѣла становится яснѣе. Раскольникья община, преслѣдуемая правительствомъ, разбѣгается мало-помалу изъ Москвы по окраинамъ; въ это время и на Донѣ появляются (1672 г.) до 130 чернецовъ и бѣльцовъ и строятъ себѣ на берегу рѣки Чира пустынь, скоро сдѣлавшуюся знаменитой. Неудачная попытка возстановить старую вѣру во время стрѣleckаго мятежа (1682 г.) влечетъ за собой новый пароксизмъ правительственныхъ преслѣдованій: на сѣверѣ они вызываютъ эпидемію самосожженій (Оч. II, 69), на западной окраинѣ бѣгство за границу, въ Польшу и Швецію, а на Дону на первыхъ порахъ—новый сильный приливъ бѣглецовъ: «Свѣтлая Россія потемнѣла, а мрачный Донъ возсіялъ и преподобными отцами наполнился». Здѣсь, среди казачества, на классической почвѣ русскаго соціального протеста, союзъ религіозной оппозиціи съ соціальной долженъ былъ, повидимому, послѣдовать самъ собой. Онъ и послѣдовалъ,—но только для того, чтобы показать до послѣдней очевидности, до какой степени обѣ оппозиціи разнохарактерны и до какой степени ихъ совмѣстное дѣйствіе невозможно. Старцы, поселившіеся въ Чирской пустынѣ, ду-

мали лишь объ одномъ, какъ бы перетерпѣть тяжелое время для раскола и обезпечить непрерывность церковной жизни: освятить церковь (1686 г.), наготовить въ ней какъ можно больше запасныхъ даровъ, чтобы и «въ тысячи лѣтъ не оскудѣло» *); самые смѣлые мечтали какъ-нибудь, хотъ семью-восемью понами посвятить себѣ епископа. Вотъ почему, когда въ ихъ обители въ 1683 г. появились эмиссары изъ Москвы звать казаковъ на помощь стрѣльцамъ, старцы спровадили ихъ поскорѣе дальше по Дону, съ ихъ подложной грамотой отъ царя Ивана Алексѣевича. А когда поднялось дѣйствительно политическое движеніе на Дону, старцы спасались въ лѣса и бѣжали на Кавказъ отъ царскихъ посылокъ за ними. Были, однако, на Дону и представители болѣе крайняго теченія въ расколѣ. На р. Медвѣдицѣ поселился типичный проповѣдникъ близкаго пришествія антихриста, Кузьма Косой. Созванный имъ отовсюду сходъ единомышленниковъ, тысячъ до двухъ, на первый взглядъ могъ показаться настоящимъ военнымъ лагеремъ, гдѣ готовились идти на Москву войной. Кузьма говорилъ о какомъ-то царѣ Михаилѣ, который будетъ съ ними и «очиститъ землю». Изъ всего этого сдѣлали въ Москвѣ политическій заговоръ и послѣ многихъ пытокъ умирающаго Кузьму заставили признать, что тѣхъ, кто не послушаетъ ихъ ученія на Дону и въ Москвѣ, «намѣрено было, въѣхъ побивать». Смыслъ этого признанія, однако же, былъ совсѣмъ иной, чѣмъ могло показаться на первый взглядъ. Достаточно внимательно въсмотрѣться въ проповѣдь Кузьмы, чтобы узнать въ немъ близкаго родственника тѣхъ пропагандистовъ, которые волновали Заволжье и призывали къ самосожженію (Оч. II, 67). Подобно имъ, Кузьма учить «умирать безъ причастія», «и жить безъ вѣнчанія», такъ какъ нѣтъ больше на землѣ ни церкви, ни таинствъ, и до кончины міра (1692 г.) осталось только пять лѣтъ. Подобно имъ, это ожиданіе антихриста вызываетъ въ немъ и въ его паствѣ повышенное, экзальтированное настроеніе, располагающее къ мистицизму и къ апокалипсическимъ видѣніямъ. Это—то же движеніе, которое одновременно съ самосожженіями, вызвало въ Заволжьѣ хлыстовщину (Оч. II, 102—5). Кузьма открыто заявляетъ въ Москвѣ (1688—1689 гг.), что у него есть «подлинникъ, писанный перстомъ Божиимъ прежде сотворенія міра». При такомъ настроеніи, Кузьма и его послѣдователи «все земное дѣло и суету отложили» и собрались на Медвѣдицѣ «для великаго божественнаго дѣла»: они ждали, какъ «вся земля вострепещетъ и море восколеблется и преисподняя потрясется и нечестивые и непокорные всѣ потребятся отъ земли» — царемъ Михаиломъ, подъ которымъ Кузьма разумѣлъ Христа. Естественно, что такого рода приготовленія и ожиданія не имѣли ничего общаго съ традиціями Стеньки Разина: и самъ Кузьма, и его покровители въ Чер-

*) Это такъ называемое «Досиѣево причастіе», о которомъ толковали, что «того таинства будетъ на 5.000 лѣтъ для 100.000 человекъ безъ нужды»; игуменъ Досиѣевъ обыкновенно просфору для агнца, «запасалъ великую яко куличу». Ср. II, 72.

кассѣ успокаивали мирныхъ казаковъ, чтобъ они «отъ того сбору не опасались и не мятежились, потому что тотъ сборъ былъ о божественномъ писаніи, а не иного какого худого дѣла и къ Москвѣ идтить намѣренія не было». Но эта самая несоизмѣримость взглядовъ и полное различіе цѣлей, при всемъ видимомъ сходствѣ средствъ, должны были оттолкнуть отъ Кузьмы и немирныхъ казаковъ, замышлявшихъ настоящій мятежъ. Дѣло Кузьмы для нихъ было «страшнымъ дѣломъ» и его сборище «нелѣпымъ совѣтомъ»: вмѣсто того, чтобы готовить втихомолку бунтъ, Кузьма заявлялъ, что онъ никого не боится, «ни царей, ни войска, ни всей всеянной», а когда казаки пробовали урезонивать его простымъ практическимъ соображеніемъ: «Какъ-де вамъ идти, вась-де немного», Кузьма отвѣчалъ имъ на своемъ языкѣ: «Съ нами будутъ небесныя силы». Очевидно, сговориться съ такимъ страннымъ союзникомъ было нельзя: онъ могъ быть скорѣе опасенъ, чѣмъ полезенъ для настоящаго заговора: вотъ почему казачій кругъ при первомъ требованіи выдалъ Кузьму московскому правительству. Сборище на Медвѣдицѣ продолжало держаться до послѣдней возможности, но оно никуда не шло, а только стсиживалось; а когда, послѣ долгихъ усилій, ихъ окопъ былъ взятъ приступомъ, большинство осажденных бросалось въ огонь и въ воду, т.-е. принимало мученическій вѣнецъ, какъ того требовало крайнее и послѣдовательное направленіе раскола. Изъ этого видно, что цѣль, съ которой собрались на Медвѣдицѣ послѣдователи Кузьмы, до конца оставалась все та же.

Итакъ, ни умѣренное, ни даже крайнее теченіе въ расколѣ не могло быть прямо и непосредственно использовано для социальнаго протеста *). Это нисколько не помѣшало казацкой вольницѣ присоединить къ старой Разинской программѣ «старую вѣру» въ качествѣ новаго лозунга. «Старая вѣра», дѣйствительно, сдѣлала большіе успѣхи между донскимъ казачествомъ въ 80 годахъ, благодаря бѣжавшимъ изъ Россіи раскольникамъ. Въ чуждой казацкой средѣ расколъ сразу сдѣлался простымъ политическимъ орудіемъ въ рукахъ партіи, враждебной Москвѣ. Пока старцы на Чиру запасаются дарами, на всемъ Дону идетъ дѣятельная пропаганда вожаковъ антимосковской партіи; они добиваются постановленія казачьяго круга, чтобы въ Черкасской церкви служить по старымъ книгамъ, и стараются даже прекратить моленіе за царя. Пока Кузьма собираетъ свой сборъ на Медвѣдицѣ и пропагандируетъ свои апокалипсическія видѣнія, въ Черкасскѣ составляется формальный заговоръ, участники котораго, не надѣясь «очистить землю» съ помощью «небесныхъ силъ», заводятъ сношенія съ Яикомъ и Тере-

*) Зачатки социальнаго ученія, можетъ быть, и были у Кузьмы. «Мы, по созданію Божию, всѣ братія», пишетъ онъ съ Медвѣдицы къ донскимъ казакамъ, опровергая какое-то ихъ недоразумѣніе. Но, конечно, ни возможности, ни надобности не было развивать это ученіе въ виду того, что «ничтоже намъ не пособитъ вѣка сего житіе»—при предстоящемъ второмъ пришествіи.

комъ, съ калмыками и «иными ордами», и назначаютъ даже срокъ, къ которому донское казачество должно быть готово искать зипуновъ Исходъ заговора (1688 г.) и здѣсь оказался неудачнымъ, вслѣдствіе доноса; но тогда какъ раскольники при неудачномъ исходѣ стремятся умереть за вѣру, бросаясь въ огонь и въ воду, заводчики казацкаго бунта начинаютъ съ того, что отрекаются отъ «старой вѣры». Отношеніе ихъ къ расколу очень вѣрно характеризуетъ одинъ изъ допрашиваемыхъ казаковъ. Заговорщики, по его словамъ, рѣшили «учинить бунтъ, какъ и при Стенькѣ Разинѣ, и идти для всровства на Волгу и на Куму рѣку», а «приговоря къ себѣ и иныя орды, возмутить всѣмъ государствомъ и идти къ Москвѣ... А старую вѣру они твердили и за нее стояли всѣ—для того жъ, умышляя, чѣмъ бы имъ не токмо что всѣмъ Дономъ, но и всѣмъ московскимъ государствомъ замутить».

Такъ стояло дѣло, когда начались «тяжелыя забавы» Петра, «замутившія» и на самомъ дѣлѣ «все московское государство». «Старая вѣра», въ смыслѣ протеста религіознаго, оказалась непригоднымъ орудіемъ для политической борьбы; но можетъ быть, какъ протестъ націоналистическій, она окажется болѣе сильнымъ и активнымъ союзникомъ?

Дѣйствительно, поведеніе Петра сильно оживило извѣстные намъ толки и подняло ослабѣвшія надежды. Опять появились въ народѣ мнимые извѣты царя Ивана Алексѣевича, на этотъ разъ съ новымъ содержаніемъ: «братъ живетъ не по церкви, знается съ вѣмцами». Опять заговорила и «голутьба» на Дону. Но, что всего важнѣе, новымъ факторомъ явились стрѣльцы: чѣмъ дальше, тѣмъ становилось яснѣе, что имъ все равно пропадать, и вмѣстѣ съ тѣмъ росло въ ихъ средѣ мужество отчаянія. «Какъ Стенька былъ Разинъ, вы намъ мѣшали», говорили казаки стрѣльцамъ; «а теперь мѣшать будетъ некому». «Какъ бы вы съ одного конца, а мы съ другого». У движенія являются и вожди, характерный союзъ: братъ знаменитыхъ раскольниковъ, пострадавшихъ при Алексѣѣ, Морозовой и Урусовой, (Соковвинъ) и стрѣлецкій полковникъ (Цыклеръ). Обстоятельства, повидимому, складываются какъ нельзя благоприятнѣе. Царь, «уклонившійся въ потѣхи» и покинувшій правленіе на произволъ судьбы, кончаетъ тѣмъ, что совсѣмъ уѣзжаетъ изъ царства за-границу. Цыклера съ стрѣльцами назначаютъ въ Таганрогъ, самый удобный пунктъ для соединенія съ казачествомъ. Планъ дѣйствій создается самъ собой: «какъ буду на Дону у городского дѣла Таганрога, то, оставя ту службу, съ донскими казаками пойду къ Москвѣ для ея разоренія и буду дѣлать тоже, что и Стенька Разинъ». Заговоръ раскрытъ и заговорщики казнены; но вызвавшее заговоръ настроеніе не умираетъ; напротивъ продолжительное отсутствіе Петра даетъ ему новую силу. Царь «невѣдомо живъ, невѣдомо мертвъ»: первая непришедшая во время почта повергаетъ самихъ бояръ въ «страхъ бабій»; стрѣльцовъ держатъ на границахъ, и знающіе люди говорятъ имъ, что въ столицу, къ семьямъ, имъ уже

больше не вернуться. При этихъ условіяхъ мысль о походѣ на Москву пріобрѣтаетъ надъ умами стрѣльцовъ принудительную силу: «непремѣнно идти къ Москвѣ, хотя бы умереть». Последней каплей является призывная грамота изъ Дѣвичьяго монастыря, отъ царевны Софьи. Рѣшеніе принято моментально: «идти къ Москвѣ». Цѣль тоже сама собой ясна. «Нѣмецкую слободу разорить и нѣмцевъ побить за то, что отъ нихъ православіе закоснѣло; бояръ побить, государя въ Москву не пустить и убить за то, что почалъ вѣровать въ нѣмцевъ. Послать вѣдомость къ донскимъ казакамъ». Въ своей челобитной, поданной при встрѣчѣ съ правительственными войсками боярину Шеину, кромѣ жалобъ на «еретика-иноземца Франца Лефорта», хотѣвшаго погубить «чинъ ихъ, московскихъ стрѣльцовъ, чтобы благочестію великое пренятіе учинить»,—бунтовщики передаютъ волновавшіе ихъ слухи, что «идутъ къ Москвѣ нѣмцы, послѣдуя брадобритію и табаку, во все-совершенное благочестія испроверженіе».

«Брадобритіе и табакъ», какъ доказательства «испроверженія благочестія»,—такова новая націоналистическая формула, смѣнившая уже—ранѣе первыхъ мѣропріятій Петра—старый лозунгъ религіознаго протеста новопечатныхъ книги. Стрѣлецкій походъ къ Москвѣ 1698 г., рѣшенный, какъ мы только что видѣли, какъ-то стихійно: таково первое и единственное (въ самой Россіи) вооруженное проявленіе новаго націоналистическаго протеста. Петръ далекъ отъ того, чтобы понимать его внутренній смыслъ: онъ все еще борется съ тѣнью, съ «сѣменемъ Милославскаго». ничего не видя въ движеніи, кромѣ продолженія старой династической интриги. Онъ не знаетъ, или не хочетъ знать, что стрѣльцы уже мало интересуются царевной Софьей и готовятъ престолъ его законному сыну. Передъ его глазами стоятъ и заслоняютъ все другое старыя, знакомыя фигуры его личныхъ враговъ, и все то бѣшенство, на которое онъ только способенъ, поднимается разомъ со дня его души: начинается ужасная бойня, которая разомъ освобождаетъ Петра отъ единственной организованной опоры націонализма. Онъ можетъ теперь дѣлать, что хочетъ «брадобритіе и табакъ», съ прибавленіемъ еще новаго платья, останутся главными предметами націоналистическаго протеста, какъ бы напоминая о томъ моментѣ, когда народное негодование сразу возникло и поднялось до своей высшей точки. За этимъ предѣломъ—народное воображеніе точно притупилось мы не видимъ новыхъ лозунговъ, а только частичныя отдѣльныя жалобы. Причина понятна. Стрѣлецкое войско было единственнымъ социальнымъ факторомъ, способнымъ сыграть роль аккумулятора народныхъ жалобъ; его настроеніе передъ неминуемой гибелью—единственной социальной силой, достаточно напряженной, чтобы дать этимъ жалобамъ исходъ въ какомъ-нибудь коллективномъ дѣйствіи; наконецъ, и моментъ—пока еще Петръ не взялъ правленія въ свои сильныя

руки—былъ единственнымъ моментомъ, когда для такого дѣйствія открывался хоть какой-нибудь просторъ. Націоналистическая формула была отчеканена въ этотъ моментъ въ коллективномъ сознаніи и навсегда сохранила дату своего чекана.

У націоналистической оппозиціи, впрочемъ, и послѣ гибели московскихъ стрѣльцовъ, оставался еще одинъ ресурсъ: южныя окраины. На этотъ разъ она сама первая пошла навстрѣчу и искала союза. Идея идти на Москву была на югѣ очень популярна. Въ списокъ враговъ, подлежащихъ истребленію, кромѣ бояръ, воеводъ и приказныхъ, занесены были и нѣмцы, а скоро прибавлена еще новая категорія: «прибыльщики» (доморощенные финансисты изъ дворовыхъ и приказныхъ, измышлявшие новые налоги въ началѣ сѣверной войны). Положительная сторона программы тоже включила въ себя всѣ исторически сложившіеся слои—разинскій, раскольничій, націоналистическій и новѣйшій фискальный. Но на Дону и на Волгѣ сочетанія этихъ элементовъ оказались различными. «Стали мы въ Астрахани (1705) за вѣру христіанскую, и за брадобритіе, и за нѣмецкое платье, и за табакъ... и за то, что стала намъ быть тягость великая», говорилось въ тамошней прокламаціи. Въ такой программѣ оказывалось слишкомъ мало—разинскаго элемента. Не обнаружили астраханскіе бунтовщики и достаточной ловкости, и достаточнаго знанія мѣстныхъ условий, которое могло бы зарекомендовать ихъ въ глазахъ казачества. Они, правда, не даромъ говорили, что такое «великое дѣло не просто начали». Дѣйствительно, за ними стоялъ цѣлый сѣздъ представителей недовольныхъ изъ разныхъ мѣстностей: «со многихъ городовъ люди». Но эти «многіе города» внутренней Россіи ничѣмъ не могли помочь возстанію, кромѣ идейнаго сочувствія; а о привлеченіи мѣстныхъ, всегда готовыхъ волноваться элементовъ—организаторы подумали слишкомъ поздно и сдѣлали это дѣло неумѣло. Выборный вождь движенія, ярославскій раскольникъ Носовъ, повидимому, принадлежалъ къ типу людей, лучше умѣвшихъ «умирать» за вѣру, по его собственному выраженію, чѣмъ за нее бороться. Это были, словомъ, на Волгѣ не свои люди: вотъ почему имъ и не удалось сплотить около себя низовой вольницы.

Главные союзники, которыхъ особенно боялся Петръ и на которыхъ особенно рассчитывали какъ московскіе, такъ и астраханскіе стрѣльцы,—это были донскіе казаки. Посланное имъ, слишкомъ официально, прямо въ Черкасскъ, приглашеніе—было официально и отклонено. Донцы остались равнодушны къ главной, націоналистической сторонѣ астраханской программы, на томъ основаніи, что «къ ничѣ до сихъ поръ о бородахъ и о платьѣ указу не прислано». Это не помѣшало донской «голутьбѣ» два года спустя возстать самостоятельно (подъ предводительствомъ Булавина), выставивъ поводомъ, между прочимъ, и «еллинскую вѣру», въ которую «вводятъ» добрыхъ людей. Самая эта форму-

лировка *) показывала, однако же, что Донъ болѣе чѣмъ когда-либо остается чуждъ религіозно-національному элементу протеста. Булавинская прокламація приглашала «атамановъ-молодцовъ, дорожныхъ охотниковъ, воровъ и разбойниковъ» — «съ нимъ погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поѣсть, на добрыхъ коняхъ поѣздить». Очевидно, Носовъ и Булавинъ говорили на разныхъ языкахъ.

Итакъ, всѣ наличныя силы, на которыя могъ бы опереться соединенный соціально-религіозно-націоналистическій протестъ, были пущены въ дѣло и разбиты по одно икѣ. Безполезно обсуждать, каковы были бы шансы на успѣхъ въ случаѣ комбинированнаго дѣйствія, но для насъ важно отмѣтить, что соглашеніе не могло состояться, помимо случайности и стихійности дѣйствій, также и потому, что и чувства, и взгляды, и задачи разныхъ входившихъ въ соглашеніе элементовъ были черезчуръ различны между собою.

Наши наблюденія надъ оппозиционными элементами Петровской эпохи были бы, однако, неполны, если бы мы, помимо народной оппозиціи, не упомянули еще и объ оппозиціи интеллигентной, сосредоточивавшейся въ высшемъ общественномъ слоѣ. Мы разумѣемъ остатки титулованной аристократіи, «родословныхъ людей». Нѣкоторые изъ нихъ, какъ кн. Дм. Мих. Голицынъ и кн. Б. Куракинъ, были передовыми людьми своего времени, гораздо болѣе образованными, чѣмъ самъ Петръ, поневолѣ пользовавшійся ихъ услугами. Но Петръ не пускалъ ихъ на первыя мѣста и распространялъ на нихъ то недовѣріе, съ которымъ вообще относился, какъ мы знаемъ, къ боярству. Въ свою очередь, и они съ презрѣніемъ смотрѣли на плебейскіе вкусы и привычки царя, были шокированы его семейными отношеніями и не признавали его второго брака, негодовали на выборъ сотрудниковъ, какъ Меншиковъ, невѣжественныхъ и надменныхъ, которымъ тѣмъ не менѣе они принуждены были кланяться. Петровской безцеремонности и неуваженію къ чужому достоинству они старались противопоставить крайнюю сдержанность и осторожность, по возможности устраниаясь отъ его оргій и предпочитая постоянному лицезрѣнію царя—службу въ провинціи, въ арміи, за-границей или просто житье у себя дома. «Что вы дома дѣлаете?»—спрашивалъ ихъ Петръ.—«Я не знаю, какъ безъ дѣла дома быть?»—«Какъ не найти дѣла дома», возражали они, думая про себя: «у тебя все готово, ты нашихъ нуждъ не знаешь». Для Петра—это было только оправданіемъ его отношенія къ этимъ «большимъ бородамъ, которыя, ради тунеядства своего, нынѣ не въ авантажъ обрѣтаются».

Царевичъ Алексѣй былъ тѣмъ идейнымъ центромъ, въ которомъ

*) Можетъ быть, она вызвана жалобами астраханцевъ, что ихъ ваставляютъ кланяться «болваннымъ кумирскимъ богамъ», подъ которыми они разумѣли подставки для париковъ, найденные въ домахъ служивыхъ людей. характерный провинціализмъ, уцѣлѣвшій отъ временъ Олсarıя.

соединялась народная оппозиція съ аристократической. «Мнѣ только здорова была бы чернь», говорилъ онъ, и въ то же время насчитывалъ въ числѣ своихъ друзей всѣхъ этихъ Долгорукихъ, Голицыныхъ, Куракиныхъ и т. д. «Отецъ твой хотя и уменъ», говорили они ему, «но только людей не знаетъ, а ты умныхъ людей знать будешь лучше». При случаѣ они не прочь были бы выступить впередъ, и, можетъ быть, даже дать народному протесту ту организацію, которой ему больше всего недоставало. Но случая не представлялось, а царевичъ менѣе всего былъ способенъ самъ создать такой случай, — и титулованная аристократія таила въ душѣ свою оппозицію, въ ожиданіи лучшихъ дней. «Кабы царица не смягчала государева жестокаго нрава, намъ бы было жить нельзя: я бы первый измѣнилъ», шепталъ царевичу кн. Вас. Влад. Долгорукій — и принималъ на себя потомъ очень двусмысленную роль, какъ посредникъ между отцомъ и сыномъ. «Пожалуйста, меня не оставь», говоритъ царевичъ въ Сенатѣ другому своему «другу», кн. Якову Ѳед. Долгорукому, передъ бѣгствомъ за границу. «Всегда радъ, — отвѣчаетъ князь Яковъ, — только больше не говори со мной: другіе на насъ смотрятъ». И при возвращеніи Алексѣя, князь, въ числѣ другихъ сенаторовъ, подписываетъ свое имя подъ смертнымъ приговоромъ царевичу и присутствуетъ при его предсмертной пыткѣ въ крѣпости, довольный хоть тѣмъ, что удалось спасти отъ пытки и казни сородича — князя Василья.

Аристократическая оппозиція принуждена была ограничиться разговорами по секрету. Но въ этихъ разговорахъ реформа Петра подвергалась беспощадной критикѣ и намѣчался планъ дѣйствій въ будущемъ. Царевичъ Алексѣй только резюмировалъ всѣ эти разговоры, когда излагалъ свою программу своей возлюбленной, Афросиньѣ. «Я старыхъ всѣхъ (сотрудниковъ) переведу и изберу себѣ новыхъ по своей волѣ; буду жить въ Москвѣ, а Петербургъ оставлю простымъ городомъ; кораблей держать не буду; войско стану держать только для обороны, а войны ни съ кѣмъ имѣть не хочу: буду довольствоваться старымъ владѣніемъ». Итакъ, новая программа, принимая въ общемъ реформу, отрицательно относится къ тремъ пунктамъ ея, для Петра, конечно, самымъ важнымъ: къ арміи, флоту и Петербургу. По счастью, мы знаемъ не только эти выводы, но и самыя разсужденія, на которыхъ они основывались: двѣнадцать лѣтъ спустя послѣ смерти Петра Фокеродтъ изложилъ эти разсужденія, частью отъ лица оппозиціи, частью отъ своего собственнаго лица, когда былъ съ ними согласенъ. Не можетъ быть сомнѣнія, что именно въ этомъ кругу, о которомъ мы теперь говоримъ, Фокеродтъ слышалъ эти «интимныя, конфиденціальныя» бесѣды изъ устъ лицъ, слагавшихъ Петру при «публичныхъ разговорахъ» — «пышные панегирики».

Недовольство непрерывными войнами, безсрочной военной службой и введеніемъ постоянной регулярной арміи заставило аристократиче-

скую оппозицію формулировать свой собственный взглядъ на задачи иностранной политики.—Прежніе государи, — говорила недовольная знать, — тоже дѣлали завоеванія, но присоединяли лишь такія земли, которыя были необходимы государству или откуда насъ беспокоили разбойничьи набѣги. Напротивъ, пріобрѣтенія Петра ничего не прибавляютъ къ нашей безопасности, а могутъ только вовлечь насъ, безъ всякой пользы для Россіи, въ чуждые намъ взаимные счеты и споры иностранныхъ державъ. Прежнія завоеванія были ужъ настоящими завоеваніями, изъ которыхъ и государство, и служилые люди извлекали всевозможныя выгоды; а петровскія завоеванія требуютъ только заботъ и расходовъ. Не только дворянство не получило отъ нихъ никакихъ выгодъ и имѣній, а напротивъ, «лифляндцы у насъ чуть не на головахъ нашихъ пляшутъ, имѣютъ больше привилегій, чѣмъ мы сами: намъ только остается честь—защищать своею кровью и охранять на свой счетъ чужую націю». Наше государство такъ велико, что расширять его нѣтъ надобности; нужно только заселить его погуще. На насъ никто не нападаетъ, да и географическое положеніе Россіи таково, что чужеземное вторженіе ей не страшно. Въ случаѣ вторженія—страна, конечно, напряжетъ всѣ усилія для защиты, какъ это и было въ смутное время; но никакой, даже самый жестокой непріятель, хотя бы онъ опустошилъ все государство, не могъ бы причинить намъ и половины вреда, какой приноситъ постоянная армія. Такимъ образомъ, настоящая національная политика должна состоять въ томъ, чтобы сидѣть смирно, въ чужія дѣла не мѣшаться и ни на кого не нападать. Для обороны же достаточно и старой военной организаціи; а милліоны людей, которыхъ стоила шведская война и построеніе Петербурга, умнѣе было бы оставить дома, за сохой, гдѣ недостатокъ ихъ слишкомъ тяжело чувствуется.

Еще неглѣпѣе въ такой странѣ, какъ Россія,—стремиться играть роль морской державы. Для обороны границъ флотъ не нуженъ, такъ какъ единственная страна, которая могла бы высадить свои войска съ моря, Швеція, всегда предпочтетъ сдѣлать это съ суши; а высаженный моремъ десантъ необходимо окажется отрѣзаннымъ, какъ только берега покроются льдомъ. Для нападенія же—флотъ бесполезенъ, такъ какъ шведскіе берега защищены скалами, а прусскіе—дюнами; нападать же на Данію нѣтъ ни расчета, ни возможности, потому что за нее вступятся другія морскія державы. Не нуженъ флотъ и для торговыхъ цѣлей, такъ какъ вся русская торговля совершается на чужихъ корабляхъ. Такимъ образомъ, и потраченные на флотъ невѣроятныя суммы денегъ лучше было бы оставить въ карманѣ подданныхъ.

Наконецъ, и перенесеніе резиденціи въ сѣверную столицу болѣе вредно, чѣмъ полезно. Не говоря уже о томъ, что и судъ, и финансы и все вообще внутреннее управленіе, переполненное ворами и взяточниками, гораздо легче было бы контролировать изъ такого центрального

пункта, какъ Москва,—и для внѣшней политики переселеніемъ въ Петербургъ выигрывается немалое. Правда, Швеція ближе изъ Петербурга, но ужъ черезчуръ, такъ какъ при малѣйшей оплошности новая столица рискуетъ сдѣлаться жертвой шведскаго нападенія. Напротивъ, къ Польшѣ и Турціи, за которыми, конечно, важнѣе наблюдать, чѣмъ за Швеціей—Москва ближе Петербурга; а ко всѣмъ остальнымъ державамъ разстояніе одинаково, такъ какъ и Москва, и Петербургъ одинаково удалены отъ Риги, «составляющей дверь, черезъ которую теперь проходитъ въ Россію все, что идетъ изъ Европы». Наконецъ, и торговля не можетъ извлечь никакой выгоды изъ пребыванія двора въ Петербургѣ, такъ какъ потребленіе двора составляетъ самую ничтожную часть торговаго оборота; главный предметъ его—громоздкое вывозное сырье, особенно нуждающееся въ дешевизнѣ расходовъ на перевозку: а при высокихъ петербургскихъ цѣнахъ, вызываемыхъ именно присутствіемъ двора, эти расходы ложатся на товары очень тяжело; слѣдовательно, дворъ лишаетъ торговлю и тѣхъ выгодъ, которыя могло бы дать ей мѣстоположеніе Петербурга.

Вотъ систематизированное, можетъ быть нѣсколько заднимъ числомъ, изложеніе аргументовъ, какіе могли имѣть противъ реформы Петра государственные люди типа кн. Д. М. Голицына. Въ этомъ націоналистическомъ взглядѣ особенно бросается въ глаза одна черта, которая, на первый взглядъ, какъ будто противорѣчитъ націоналистическому характеру программы: это, именно, требованіе разоруженія и мирной политики. Мы привыкли, наоборотъ, завоевательную политику считать необходимой составной частью національной программы. Сюда, несомнѣнно, подходит и завоевательная политика Петра: недаромъ и противъ Турціи, и противъ Швеціи онъ выдвигалъ русскіе «завѣты исторіи». Въ этомъ соединеніи національно-завоевательной политики съ официальной побѣдой критическихъ элементовъ мы усматриваемъ даже характерную черту переходнаго XVIII вѣка (выше, стр. 12). Несомнѣнно, въ реформѣ Петра критическіе элементы составляли лишь средство, а цѣль была вполне націоналистическая. Если такъ, то какой же смыслъ имѣетъ противопоставленіе этой, по существу своему націоналистической, политикѣ, —какой-то другой, совершенно обратной политики въ націоналистической программѣ? Ужъ не помѣнялись ли на этотъ разъ мѣстами націонализмъ и критика?

Въ дѣйствительности, здѣсь противорѣчіе только кажущееся. Достаточно обратить вниманіе на то, какъ—совершенно по-ассирійски или, что то же, по старо-московски—смотритъ націоналистическая оппозиція на задачи всякаго завоеванія вообще; какъ непонятенъ ей, съ этой точки зрѣнія, характеръ подчиненія Лифляндіи и сохраненіе ея привилегій,—чтобы убѣдиться, что взглядъ оппозиціи на внѣшнюю политику безусловно націоналистическій. Онъ не исключаетъ ни дальнѣйшихъ «необходимыхъ приобрѣтеній» отъ Польши, ни новыхъ завоева-

ній, «обеспечивающихъ отъ набѣговъ» — со стороны Турціи. Онъ просто только считаетъ эти старыя цѣли московской политики достижимыми и при помощи старыхъ средствъ. Расширять же сферу дипломатическихъ отношеній Россіи онъ, очевидно, боится, чтобы не сдѣлать Россію орудіемъ въ чужихъ рукахъ безъ всякой для нея пользы. Конечно, и увлеченіе Петра «безплодной Ингерманландіей» и его любезности передъ остзейцами — этотъ взглядъ считаетъ отклоненіемъ отъ нормальнаго хода русской политики.

Однако же, и помимо этихъ спокойныхъ, логическихъ государственныхъ соображеній, есть еще причины, побуждавшія старую аристократію держаться подальше отъ Швеціи, поближе къ Польшѣ и Турціи, и мечтать о возвращеніи къ военному устройству XVII вѣка. Это — классовые интересы ея и вообще русскаго дворянства, существенно затронутые новыми порядками. «Когда (этой знати) приводятъ въ примѣръ дворянство европейскихъ странъ, считающее величайшей честью военныя заслуги, — говоритъ Фокеродтъ, — она обыкновенно отвѣчаетъ: это только доказываетъ, что на свѣтѣ больше дураковъ, чѣмъ умныхъ людей. Умный человѣкъ не станетъ подвергать опасности здоровье и жизнь, — развѣ только изъ нужды, за жалованье. Но русскій дворянинъ съ голоду не умретъ, если только позволятъ ему жить дома и заниматься хозяйствомъ. Даже тому, кто самъ за сохой ходитъ, все-таки лучше, чѣмъ солдату. А человѣкъ мало-мальски со средствами можетъ себѣ всякое удовольствіе позволить: ѣды и питья, платья, прислуги у него въ изобиліи; можетъ онъ, сколько душа захочетъ, и развлекаться охотой и другими забавами предковъ. Нѣтъ у него, конечно, костюмовъ съ серебромъ и золотомъ, нѣтъ великолѣпныхъ каретъ, дорогой мебели, не пьетъ онъ тонкаго вина, не лакомится чужеземными приправами, но за то вѣдь онъ ни о чемъ этомъ и не знаетъ — и уже потому не можетъ чувствовать себя лишеннымъ этого: онъ довольствуется своимъ домашнимъ питьемъ и ѣдой и чувствуетъ себя лучше, чѣмъ любой иностранецъ съ его пресловутой *bonne chère*. Что же можетъ заставить уйти отъ этого покоя и удобства, подвергаться тысячѣ опасностей и трудностей, чтобы добиться какого-то чина?» Таково настроеніе російскаго «шляхетства», неволей «выволаченного» изъ насиженныхъ дѣдовскихъ гнѣздъ на тяжелую солдатскую службу. Естественно, что его досадѣ нѣтъ границъ. «Изъ-за какого-то честолюбія государя, а то такъ и министра, сосутъ кровь у крестьянъ, заставляютъ лично служить, да не такъ, какъ прежде — пока длится война, — а много лѣтъ подрядъ, вдалекѣ отъ дома и семьи; приходится влѣзать въ долги, а имѣнье отдавать въ воровскія руки прикащика, который такъ его обчиститъ, что если и посчастливится по старости или по болѣзни получить отставку, такъ и то не приведешь хозяйства въ порядокъ до самой смерти». Таково то настроеніе, при которомъ создаются націоналистическія мечты о возвращеніи къ ста-

рымъ порядкамъ. Таковы же и тѣ чувства, которыя лежатъ въ основѣ ненависти русской знати къ Петербургу. «Потребности русскаго дворянина,—замѣчаетъ Фокеродтъ—заключаются не въ дорогихъ костюмахъ и мебели, не въ гастрономическомъ обѣдѣ и иностранныхъ винахъ, а въ обиліи пищи и питья мѣстнаго происхожденія, въ многочисленной дворнѣ и въ лошадяхъ. Все это въ Москвѣ онъ имѣетъ даромъ или за очень дешевую цѣну. Провизію для него и для дворни, сѣно и овесъ для лошадей привозятъ ему, по близости, изъ своихъ же деревень въ изобиліи; продавать ихъ все-равно некуда; все и идетъ въ свое же хозяйство. Напротивъ, въ Петербургѣ, окрестности котораго бесплодны, ему приходится везти провизію и кормъ издалека; лошади падаютъ въ дорогѣ, обозъ стоитъ, мужики разбѣгаются; или же приходится все покупать на чистыя деньги, по страшно высокимъ цѣнамъ,—что, при русскомъ хозяйствѣ, приносящемъ доходъ больше натурой, чѣмъ деньгами, чрезвычайно отяготительно».

Итакъ, вотъ что особенно непріятно въ реформѣ для русской знати и дворянства: разореніе хозяйства, подрывъ экономическаго благосостоянія. Изъ всѣхъ мотивовъ недовольства—этотъ окажется самымъ сильнымъ и прочнымъ. Русскій дворянинъ охотно примирится съ самымъ пышнымъ расцвѣтомъ націоналистической внѣшней политики, — который еще впереди; онъ еще скорѣе и охотнѣе войдетъ во вкусъ европейскихъ модъ и житейскаго комфорта. Но къ чему его никогда не удастся приучить и противъ чего онъ всегда останется въ оппозиціи,—это европейское чувство «военной чести», воспитавшее сословный духъ европейскаго дворянства. Очень скоро послѣ Петра онъ почувствуетъ свою корпоративную силу; но онъ воспользуется ею только для того, чтобы какъ можно скорѣе развязаться съ почетной повинностью военной службы и вернуться назадъ, «домой», къ себѣ въ деревню. Изъ всѣхъ оппозиціонныхъ стремленій петровскаго времени — это будетъ единственное, которое найдетъ твердую точку опоры въ собственной сословной силѣ и которое осуществится, благодаря этому, *вопреки* волѣ правительства.

Кромѣ общихъ сочиненій о царствованіи Петра В — Устрялова, Соловьева, Брикнера, см. новѣйшую сводную работу *K. Waliszewski*, «Pierre le Grand», Paris 1897 г.: авторъ удачно популяризируетъ и обставляетъ фактическими доказательствами тотъ взглядъ на Петра, который начинаетъ въ послѣднее время устанавливаться въ русской литературѣ. Дневникъ Корба переведенъ въ Читеніяхъ Общ. Ист. и Др., 1866, IV; 1867, I и III. Записки Юста Юля—тамъ же, 1899, II—IV. Мемуары кн. Б. Куракина въ Архивѣ кн. О. А. Куракина, т. I, Спб. 1890. Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца, т. I—IV, М. 1857—63 г. Записка Фокеродта издана Негтманн'омъ: «Russland unter Peter dem Grossen», Lpz., 1872; русск. перев. въ Читеніяхъ О. И. и Др. 1874 г., II. Для характеристики религіозной и социальной оппозиціи, кромѣ Соловьева и сочиненій, указ. въ «Очеркахъ», т. II, въ отдѣлѣ о расколѣ, см. еще: *П. С. Смирнова*, «Внутренніе вопросы въ р. расколѣ въ XVII в.» Спб. 1898 г. *В. Г. Дружинина*, «Расколъ на Дону въ концѣ XVII в.», Спб. 1889 г.
